

K12c
LE MESSENGER

ВЕСТНИК

**РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ**

Судьбы России

- Двойное сознание интеллигенции
- Русский мессианизм
- Как быть?
- Памяти Франсуа Мориака
- Неизданные стихи О. Мандельштама
- Судьба поэта
- Памяти кн. Е. Н. Трубецкого
- Прославление преп. Германа

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 97

TRIMESTRIEL

III .1970

LE MESSENGER

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,
И. В. Морозов.

Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и вся Канада, проф. прот.
Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.
91, rue Olivier de Serres, Paris 15°. Tél. : BLO. 53-66

Р. С. Х. Д.

Фр.
30,—
7,50
15,—
50,—
30,—

4001421

СПРАВОЧНИК

У/2

только на почтовый

Etudiants Russes,

ix du numéro : 7,50 F.
F.

s Etudiants Russes,
France.

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот номер «Вестника» носит несколько необычный характер: он целиком посвящен судьбам России, более точно — ее духовной судьбе. Раздел этот появился в «Вестнике» несколько лет назад скромно, незаметно в виде слабо долетающих голосов оттуда, постепенно окреп, разросся, а сегодня вылился в особый номер. Это уже не голоса, а голос, не вообще о том, что происходит в России, а глубокое раздумье над ее прошлым, будущим, и настоящим — в свете христианского откровения. Необходимо подчеркнуть необыкновенную важность этого, хотелось бы сказать, события.

Печатаемые статьи не легки для чтения, даже по форме, так как с большой тщательностью анализируют духовное разложение России и внутренние причины, приведшие к этому роковому, может быть, неизлечимому состоянию. Они не случайно перекликаются с «Вехами», даже если не достигают уровня этого исторического сборника. И именно, как в «Вехах», трудность статей не только в изложении, она и нравственного порядка. Не всем будет легко принять это беспощадное прикосновение к язве, поразившей Россию, этот призыв к отказу от всякой национальной гордости, будь она даже религиозно оправдана, от привычки смотреть на Россию, вопреки очевидности, через розовые очки благосклонного наблюдателя. Разумеется, Редакция не несет ответственности за все крайние взгляды, высказанные в этих статьях. Но на Западе мы слишком легко убаюкиваем себя, по разным причинам, легкой и непродуманной верой в Россию: кто плывет по старому руслу славянофильства, забывая его покаянные предпосылки, кто, что гораздо хуже, прельщается политической мощью России, кто вообще, из отталкивания от буржуазности, умиляется на русский стиль.

Мы не хотим сказать, что в Россию, в ее духовное призвание, нужно перестать верить. Слишком велико наследие прошлого, слишком чудесны побегы будущего, чтобы отчаиваться. По сча-

БИБЛИОТЕКА-ФОНД
«РУССКОЕ ЗАГУБЕЖЬЕ» 1
МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2

4001421

ливому совпадению, последнее интервью Мориака, печатаемое в номере, переключается со статьями из России, вступает с ними в спор и дополняет их. Да и безымянные авторы статей не написали бы их, если, в конечном итоге, не верили бы в возможное духовное возрождение России.

Но вера в Россию не должна быть легковесной и безответственной. Она должна быть зрячей, покаянной, ответственной и жертвенной.



Одновременно «Вестник» имеет счастье предложить читателям неизданные стихи и письма крупнейшего русского поэта — Осипа Мандельштама. Мандельштам, хотя и печатается в России лишь урывками и отрывками, вошел в русскую литературу как классик, чья каждая строчка бесценна. То, что его имя прославляется в номере о судьбах России — многозначительно. Мандельштам велик своей божественной гармонией, в силу которой он добровольно, как первохристианский мученик, принес себя в жертву Молоху истории. Как он того добивался, через мучительные сомнения и страхи, он стал образом веры и верности, мужества и жертвы, он слил воедино, в мире, стремящемся к разобщению, религиозный, нравственный и литературно-поэтический подвиг. Его имя и судьба — пример и залог духовного воскресения России.



А. СОЛЖЕНИЦЫН — НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Номер уже был в наборе, когда мы узнали, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, о присуждении Александру Исаевичу Солженицыну высшей литературной награды — Нобелевской премии.

Радость тех, кому дорого подлинное искусство, кто чаёт духовного обновления России, была беспредельна. Мы все верим,

вопреки многочисленным Сальери наших дней, что есть правда выше. Но часто горький опыт заставляет задуматься: а проникает ли эта правда сюда, на землю? В день присуждения премии Александру Исаевичу, поздравляя друг друга, мы могли сказать уверенно и с облегчением: «есть правда на земле».

Пожелаем лауреату здоровья, сил и безмятежных дней, чтобы он продолжал отражать в своем творчестве лучи высшей Красоты и Правды.

Никита Струве.



Александр Исаевич Солженицын

ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа...

(Деян. 3,19).

Что наиболее характерно сегодня во внутренней жизни России? Нам думается, начавшееся пробуждение самосознания. Если еще недавно можно было говорить только о брожении умов, об инстинктивной неудовлетворенности человека собственной нравственной позицией, самое большее, о нескольких организованных правовых протестах, то теперь картина меняется. Подспудное недовольство, бессознательное отвращение и неприятие коммунистического режима перерастает в сознательную оппозицию. Не нужно обольщаться: эта оппозиция — не партия и не орден, у нее нет ни газет ни клубов, ее возможности самовыражения крайне невелики. И тем не менее, движение занялось и растет по всей России, от столиц до отдаленнейших национальных окраин. Общую черту, создающую это движение как что-то качественно однородное мы назовем стремлением к «проявленности». Имеется в виду повсеместное тяготение к выраженности прежних неосознанных или полуосознанных интенций на языке более глубокого и правдивого миропонимания. Все вышесказанное относится лишь к интеллигенции, к немногочисленному ее слою, в котором нравственное пробуждение вызывает потребность к осмыслению действительности и своего назначения в ней. Этот слой тонок и почти незаметен над огромным морем обманутого населения. Интеллигенция как на ковалыне: сверху аппарат насилия и лжи, внизу — агрессивная по отношению к культуре и свободе «масса», состоящая из мелких служащих, отнюдь не связанных с землей крестьян, рабочих (отнюдь не пролетариев), низших офицерских чинов и прочих категорий полуобразованных или малообразованных мещан, представляющих собой по своим взглядам, привычкам и рефлексам классический тип homo sovieticus'a. Однако, это положение не безнадежно, и в этой массе заметно брожение, и ей передалась неуверенность и усталость от неизвестности и неопределенности — она хочет чего-то устойчивого и **положительного**, она хочет верить в своих вождей и в их идеалы. Масса живет не своим умом, но теми идеями, которые выделяет культурная элита. От ее самосо-

знания и ее ценностей зависит будущее России. До последнего времени интеллигенция, отказывая в доверии коммунистическому режиму, переходила обычно на позиции **отрицания**, злобствования втихомолку. Ее бессилие, кажущаяся невозможность сказать свое слово, неизжитый страх побуждали ненавидеть весь мир и саму себя, все глубже погружаться в уныние и бездеятельность.

Это длительное состояние разрешилось для немногих выходом к гражданской жизни, к осознанию своей миссии и обязанности выработать положительные идеалы. Но пока лишь для немногих и к очень медленному и малопродуктивному творчеству, а ведь известные сроки могут быть снова (как и в 1917 г.) упущены, снова стихийное возмущение, спровоцированное какими-либо экстремистами, может опередить вызревание идей и нравственного самосознания. Новая резня, если таковая начнется, может оказаться страшнее прежней, ибо русский народ совсем отвык от добра и забыл о Высшей Правде. Тогда Россия перестанет существовать окончательно, потому что есть предел беззакония. Пока еще отпущено время, пока еще это в нашей воле, мы должны сделать все возможное, чтобы исполнить свой долг перед Богом и перед Россией.

Итак, к творческой работе призывается русская интеллигенция. Однако, в чем же смысл этого творчества? Индивидуально ли оно — ведь сейчас в России многие «пишут», пишут мемуары, пишут стихи, прозу, даже статьи, но все это лишь для себя, для узкого круга друзей или для САМ-издата? Говорим ли мы о таком творчестве, надеясь, что творческое озарение таинственно, через неведомые механизмы воздействует затем на нашу эпоху и облагородит ее? В каком-то смысле речь идет об этом, но не только об этом. Говорим ли мы далее о более полном творческом освоении русского и мирового культурного наследия, о возвращении к религиозным истокам русской культуры, к христианской философской интуиции, ставшей на рубеже XIX и XX веков источником культурного и церковного возрождения? Да, мы зовем и к этому, но не только.

Призываем ли мы, наконец, к широкому христианскому воцерковлению, к движению интеллигенции в настоящую Церковь; призываем ли лучшие силы православия воспрянуть духом и отдать церковному творчеству, восстанавливая все утраченное за полвека, активно привлекая к Церкви свежие молодые силы, проповедуя и пророчествуя. Да мы зовем к этому, но не только.

Главная цель героического творческого усилия интеллигенции может заключаться только в целостном Возрождении России. Не в реставрации старого порядка, не в простом свержении коммунистического режима, но в истинном **освобождении** от поработившего нас до самых глубин душ наших зла, в восстановлении духовных начал нации, в воссоздании для нее возможностей быть подлинно христианским народом.

В глубине русского духа совершилось отпадение от Бога, грех порабощения ложному кумиру. Из глубины духа и возвращения к истинной Божией любви и свободе произойдет освобождение. Невозможна реставрация России прежней; ведь революция и большевизм явились в какой-то мере наказанием за былые грехи, Божьей карой за прежние беззакония. Но и большевизм — не татарское иго, не варяжское нашествие: революцию делали не одни евреи. Потому коммунистическая власть есть не внешняя сила, но органическое порождение русской жизни, средоточие всей скверны русской души, всего греховного нароста русской истории, который нельзя механически отрезать и бросить. От него можно только **внутренне отказаться, в нем нужно раскаяться**. Но и возврат к дореволюционному православию, как бы он ни казался желателен для некоторых, также невозможен. Не за чистоту православия был наказан русский народ атеизмом, поразившим весь мир сатанинской ненавистью к Богу, закону Его любви и человечности. Вековой смрад запустения на месте святом, рядившийся в мессианское «избранничество», многовековая гордыня «русской идеи», которая спасет Запад и «разлагающуюся» католическую Церковь, весь грех многовекового разделения, вражды, вся мерзость великодержавной спеси, в которой русская интеллигенция упорствовала, — все это лежит тяжелым камнем на душе России, не пуская ее к освобождению. Только на основе этой вселенской русской спеси стал возможен соблазн революции и государственного тоталитарного атеизма. Россией принесено в мир Зла больше, чем любой другой страной и вернуться к догреховному состоянию (которого в русской истории не было) нельзя. Можно лишь возродиться через **покаяние**. Это единственный путь. Духовный соблазн лежит в основе коммунизма, мессианский соблазн — в идее религиозной чистоты и предизбранности исторических форм православия перед другими церквями, соблазн великодержавной мощи очевиден и в нынешней политике. И каждый из них имеет пристанище в нашей душе, ослепляет ее, усыпляет ее нравственное самосознание, ослабляет ее религиозную волю.

Если покаяние русской интеллигенции станет подлинно огненным мистическим очищением, если она вновь не истратит и не погубит себя в подлых раздорах, но объединится в едином порыве к этому покаянию, то пламя его, без сомнения, займется в самых глухих уголках России, религиозным подъемом отзовется во всем христианском мире. Тогда и создадутся, наконец, возможности рафинированному русскому религиозному Ренессансу перерасти в могучее возрождение в Духе и Истине.

Но пока еще не изжит грех России. Это сделает лишь осознанная и добровольно принесенная жертва. Муки отцов и дедов, смерть и страдание миллионов и миллионов замученных русских людей — не были до конца жертвой искупления, потому что в них не всегда было свободное приятие, в них была и бездумная покорность необходимости. Болезнь и смерть есть следствие всякого греха — личного и общественного, они не могут его искупить. Только в огне добровольной жертвы рождается дух свободы, и вольное приятие Креста Господня означает рождение новой России.

В рабстве же и медленном вырождении будем прозябать, доколе не воскликнем: «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». (Иерем. 14,20).

ДВОЙНОЕ СОЗНАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ПСЕВДО-КУЛЬТУРА

“Борис, не люблю интеллигенции,
не причисляю себя к ней”.

М. Цветаева — Пастернаку.
(Переписка)

Проблема интеллигенции — ключевая в русской истории. В начале века, преодолевая привычное народопоклонство, русское общество стало как будто осознать это. Бесспорно, что осознание это достигло высшей точки в сборнике «Вехи», значение и влияние которых именно благодаря выбору такой темы — сборник статей о русской интеллигенции, — за пределы этой темы выходит, выходит за пределы эффекта, произведенного сенсационным когда-то бестселлером. Внешне непризнанные и отвергнутые, известные ныне большинству лишь по названию, «Вехи» все это время были силой, скрыто воздействующей на все духовное развитие русского общества. Это действительно **вехи** на пути России, так что куда бы ей теперь ни пойти, ей все равно придется отсчитывать удаление от этой точки, соотносить себя с нею. Повторяем, «Вехи» — не просто хлесткий критический сборник, но именно благодаря выбору темы, им удалось коснуться самых основ русской жизни — той, которая была до них, той, которая прошла за эти шестьдесят лет после них, и той, которая только еще настает.

Представляется, что значение интеллигенции упало как будто после 17-го года. Но это ошибочное мнение. Оно злонамеренно насаждается властью, подхватывается чернью и частично поддерживается самой интеллигенцией, чтобы снять с себя ответственность за происшедшее. Ниже мы постараемся доказать это. Сейчас пока что достаточно сказать только одно: как бы то ни было, сегодня интеллигенция опять, без сомнения, явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира. Посвящая сегодня статью проблемам интеллигенции, можно поэтому надеяться — хоть силы наши гораздо скромнее теперь — снова выйти за рамки сугубо интеллигентской феноменологии, затронуть, если и не вскрыть, самое существо совершающихся исторических процессов.

1.

Попытаемся сравнить ту интеллигенцию, о которой говорят «Вехи», — например, С. Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество», — с интеллигенцией сегодня. Согласно идее С. Н. Булгакова, поддержанной также Н. А. Бердяевым в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» и общепризнанной в настоящее время — неповторимый, более нигде не отмеченный характер русской интеллигенции сложился как своеобразное искажение личных духовных начал, привитых православной культурой и Церковью. «Неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божьем, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами), и затем стремление к спасению человечества, если не от греха, то от страданий, составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции», — писал С. Н. Булгаков. Эти слова как бы кратко суммируют то, о чем говорит и вся без исключения русская литература того времени: Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов, Блок, и великое множество «меньших» писателей, чьи свидетельства вошли с тех пор уже в нашу плоть и кровь. Вряд ли надо поэтому объяснять, каков был русский интеллигент конца XIX — начала XX века: нигилист, народник, эсер-террорист или социал-демократ. Ему был чужд прочно сложившийся мещанский уклад, он боялся быта, он презирал культуру, и ту, откуда сам вышел, и чужую, он мучился своей виной перед народом, за счет которого есть и пьет. Отчасти эта неотмирность происходила из барства, но лишь отчасти. В ней был безусловно и своего рода аскетизм, «в ней несомненно была, — пишет Булгаков, — и доза бессознательного религиозного отращения к духовному мещанству, к «царству от мира сего» с его успокоенным самодовольством». Далее русский интеллигент был, конечно, пламенным известом, боготворил научное знание и отрицал веру. Это хорошо известный факт; но, по словам Булгакова, этот хвалесный атеизм отнюдь не является «сознательным отрицанием, плодом сложной мучительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется на веру, и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку». Все эти отличительные особенности вместе и позволили Н. Бердяеву в «Истоках» сказать, что интеллигенция по своему мировоззрению, по экзистенции была как бы неким подобием религиозного ордена. Правда, уже Булгаков оговаривается, что все эти качества, заложенные христианской культурой, интеллигенция по мере удаления от христианства утрачивает, они носят атавистический характер.

Если теперь, держа в уме этот вкратце очерченный здесь образ, взглянуть на интеллигенцию сегодняшнюю, то прежде всего бросается в глаза одно отличие ее от былого: буржуазность. Буржуазность в манерах, в одежде, в обстановке квартир, в суждениях. Аскетизм, который и раньше был рудиментом, исчез теперь почти бесследно. Исключения крайне редки. Интеллигенция сегодня стремится к обеспеченности, к благополучию и не видит уже ничего плохого в сытой жизни. Наоборот, она страдает, когда ее спокойствие и размеренный порядок бытия вдруг нарушаются. Своя квартира, возможность роста по службе, диссертация — вот необходимый минимум, без которого сегодняшний интеллигент не мыслит себе своего существования. Он считает эти требования как нельзя более естественными. Идеалом для него является жизнь его американского или европейского коллеги, свободного, хорошо оплачиваемого специалиста, который вынужден, правда, работать значительно напряженней, чем работает интеллигент здесь, в России, но зато имеет собственный автомобиль, коттедж, семью из четырех детей, неработающую жену и может путешествовать по всему миру. Сегодняшний русский интеллигент тоже хочет путешествовать, и не только потому, что хочет за границей поприличней одеться и привезти оттуда кое-что жене или дочери, но и потому, что он теперь ценит культуру. Он не думает уже теперь, что «сапоги выше Пушкина», он узнал откуда-то, что хорошо и Пушкин и многое другое, он вообще теперь «интересуется искусством», имеет претензию понимать или разбираться в художественных произведениях, быть в курсе событий художественного мира. Он хочет теперь быть «гармоничным человеком», «всесторонне развитым»; отнюдь не страдание, не чужая трагедия манит теперь его, но прекрасное, которое он понимает умеренно эстетски, гедонистически, как имеющее смысл постольку, поскольку им можно наслаждаться.

Было бы, однако, несправедливо так уж сразу и беспощадно осудить эту происшедшую с интеллигентом перемену, осудить эту его «буржуазность». Подобно западным «хиппи» презирать его за эту метаморфозу, бросать ему вызов, эпатируя его нарочитой деклассированностью и проч. Сегодняшний интеллигент все-таки вряд ли заслужил такое обращение. Его не удивишь показными лохмотьями. Ему слишком хорошо знакома и истинная беспросветная нищета, нищета отчаянная, сводящая с ума. Советясь когда-то в мирные девятисотые годы, что хорошо живет, он и не предполагал скоро оказаться в такой нужде, где совеститься

уж никак не приходилось. Он был на самом деле беднее последней собаки, он был на самом дне общества, он был унижен, как мало кто бывал унижен. Сам он в этом виновен или нет — в данном случае неважно. Но вытерпел он конечно столько, что на его сегодняшнюю буржуазность можно, кажется, взглянуть и участливо, как на вполне понятное желание несчастного, измученного человека хоть немного пожить наконец спокойно, без страха за завтрашний день. И если он не ощущает сегодня больше своей вины перед народом, то ведь и слава Богу, — они квиты на пятьдесят втором году советской власти, народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией. И если интеллигент сегодня тянется к культуре, то ведь и это хорошо. Важно лишь, чтобы это было подлинным сильным чувством, а не поверхностным увлечением, чтобы он не относился к культуре потребительски, не видел в ней только средство украсить свой быт, продвинуться с ее помощью дальше других по социальной лестнице или соблюсти психический эквилибриум в своем организме... Все это безусловно так, но мы воздержимся пока что от окончательной оценки всех «плюсов» и «минусов» отмеченной метаморфозы.

Теперь же рассмотрим другую важную характеристическую черту интеллигенции — ее обращенную религиозность. Здесь надо сказать, что если шестьдесят лет назад религиозное начало превратилось у русского интеллигента в веру наизнанку, то теперь дело обстоит еще сложнее. Нельзя утверждать, что сегодняшний русский интеллигент — это атеист-фанатик. Нет, хитрость в другом: ему вовсе сегодня не приходится быть фанатиком, и не приходится потому, прежде всего, что эта проблема для него как бы вообще «снята». Ему не перед кем отстаивать свою правоту, не с кем спорить, некого опровергать. Церковь, по мнению интеллигента, — историческое формирование, не больше. Несколько десятков храмов в столице и кое-где в провинции еще доживают свой век, молчаливо свидетельствуя об угасании этой древней сферы бытия. Когда-то это все было необходимо, но теперь исчерпало себя. Есть культурные памятники, их, разумеется, надо беречь и даже любить, но так называемое Откровение относится к области мифологии и только.

Правда, и не наука теперь уже главный козырь. Наука, пожалуй, просто не дает данных для веры, просто служит еще одним подтверждением тому, что известно и без нее. А именно: интеллигент и без всякой науки **знает**, что Бога нет, он уверился в этом на собственном опыте! Потому что если бы Бог существовал,

то он не мог бы допустить всех тех ужасов, что суждено было за последние полвека пережить интеллигенту. Такова диалектика русского атеиста. Теодицея для него невозможна, если в его сознание и входит внезапно мысль о Боге, то тотчас же к этой мысли примешивается обидное и злое чувство: если Он и есть, то как же Он мог оставить нас в этом страшном мире? В мире, где сомнительное смягчение нравов то и дело прерывается невиданными вспышками злобы, и даже, казалось бы, безусловно прогрессивное техническое развитие вдруг начинает грозить ошеломленному человечеству уничтожением. Поэтому интеллигент не верит больше, как верил когда-то, и в **прогресс** — в лучшем случае он допускает, что имеется некоторая вероятность, что все окончится хорошо, что люди, быть может, все-таки в конце концов образуются. Но это всего лишь надежда, робкая надежда, которой он предпочитает не давать воли, противопоставляя всем дальнейшим обольщениям и иллюзиям такого порядка душевную трезвость, честный, как он считает, взгляд на вещи, на течение событий. Ему тяжело (когда он думает об этом). К счастью, однако, он стихийно склоняется к иррационализму — так же как от души прежде был рационалистом — и заранее убежден, что человеческий разум разрешить на данном этапе развития своих противоречий все равно не сможет, и, значит, нечего об этом и думать. Когда же он все-таки подымается над этим своим обыденным сознанием и пробует осмыслить свои ощущения Универсума, так сказать, теоретически, пробует отождествить себя с каким-то направлением, то в итоге это чаще всего какая-либо разновидность спиритуализма, можно сказать даже, экзистенциального спиритуализма. Это какая-то всегда скептическая эклектика, в которой буддизм затейливо перепутывается с левым гегельянством, а стоицизм соседствует с натурфилософским понятием неосферы. Материя не отрицается, но интеллигентный мыслитель невысокого о ней мнения. Невысокого он мнения и об Истории, и вообще о жизни. «Жизнь это покрывало майи», — говорит он вместе с древним индусом. Он согласен также и что «рождение есть страдание, старость страдание, болезнь — страдание, и так далее, вплоть до того, что привязанность к земле есть страдание». Поскольку, однако, путей спасения, которые предлагает ему Будда, русский интеллигент принять почему-то не может — ни вместе, ни даже порознь — почему-то и не пробует даже, то он живет все же этой жизнью, оставляя себе «сферу духа», и лишь стараясь обеспечить себе эту жизнь так, чтобы не возникало помех для деятельности

помянутой сферы. К тому ж он еще надеется, что плоды этой деятельности обладают чем-то наподобие бессмертия, потому, — надеется он, — что уж что-то, а информация наверняка неуничтожима.

Таким образом, этот интеллигентский спиритуализм совершенно противоположен старому материализму, точно так же, как «буржуазность» противоположна былому идеалу бедности, как нынешняя культурфилософия противоположна классическому нигилизму. Ввиду этого тройного противостояния возникает законный вопрос: а осталось ли еще что-нибудь из родовых, не отмеченных еще интеллигентских качеств? И затем: есть ли вообще что-нибудь, роднящее старого и нового интеллигента?!

Здесь пора (или можно) усомниться в самом факте существования интеллигенции сегодня. В самом деле, ведь это вовсе не есть нечто само собой разумеющееся. Ведь нетрудно показать, что мы во многом узурпировали понятие «интеллигенции», распространив его на не подлежащие ему области. У нас говорят «советская интеллигенция», «техническая интеллигенция», «творческая интеллигенция», в одной книге даже — «византийская интеллигенция». Это наименование присваивается ныне всему без разбора образованному слою, всем, кто занимается умственным, не ручным трудом. А это неверно, у нас исказился первоначальный смысл слова. Исходное понятие было весьма тонким, обозначая единственное в своем роде историческое событие: появление в определенной точке пространства, в определенный момент времени совершенно уникальной категории лиц, помимо указанных выше качеств, буквально одержимых еще некоей нравственной рефлексией, ориентированной на преодоление глубочайшего внутреннего разлада, возникшего меж ними и их собственной нацией, меж ними и их же собственным государством. В этом смысле интеллигенции не существовало нигде, ни в одной другой стране, никогда. Всюду были (и есть) просвещенные или полу-просвещенные критики государственной политики; были (и есть) открытые и даже опасные оппозиционеры; были (и есть) политические изгнанники и заговорщики; были (и есть) деклассированные элементы, люди богемы, бросавшие дерзкий вызов обществу с его предрассудками и нормами. Всюду были (и есть), наконец, просто образованные люди, учителя, врачи, инженеры или работники искусства.

Но никогда никто из них не был до такой степени, как русский интеллигент, **отчужден** от своей страны, своего государ-

ства, никто, как он, не чувствовал себя настолько чужим — не другому человеку, не обществу, не Богу — но своей земле, своему народу, своей государственной власти. Именно переживанием этого характернейшего ощущения и были заполнены ум и сердце образованного русского человека второй половины XIX — начала XX века, именно это сознание коллективной отчужденности и делало его интеллигентом. И так как нигде и никогда в Истории это страдание никакому другому социальному слою не было дано, то именно поэтому нигде, кроме как в России, не было интеллигенции (1).

Таким образом, этот последний из перечислявшихся родовых признаков интеллигенции совпадает, по сути дела, с ее определением. И в силу этого определения, мы должны принять тот эмпирически наблюдаемый факт, что несмотря на все превращения, происшедшие за эти поразительные шестьдесят лет в облике России и ее образованного слоя, в основном своем характеристическом качестве этот слой не изменился, по-прежнему оставаясь интеллигенцией в единственном настоящем значении этого слова.

Оригинальность этого факта, этой неизменности как-то стерлась в нашем сознании. Во-первых, мы — как только что было отмечено — привыкли считать, неверно орудуя с понятием интеллигенции, что интеллигенция вообще всегда оппозиционна власти; в глубине души так, между прочим, думает и сама власть. Но это совершенно неправильно. Разумеется, что критики государственной политики во все века и во всех странах вербовались из просвещенного слоя. Но ведь в случае интеллигенции, как теперешней, так и старой, речь идет не совсем о политической оппозиции, о тактике этой оппозиции, или даже о долговременной ее стратегии с целью достижения каких-то определенных интересов, — речь идет о самом типе бытия, об экзистенциальной сущности явления. Во-вторых, оригинальность факта (подчеркиваем: оригинальность), существования отчужденной интеллигенции обычно отрицается, особенно самими левыми интеллигентами, постольку, поскольку считают самоочевидным, что интеллигенция не может примириться с коммунистическим тоталитарным режимом, олицетворяющим зло и возведшим в принцип ложь. Считается, что в данном случае для всех честных людей нормальным является отвергать это зло, не

(1) Кстати, именно поэтому справедливо утверждение, что многие талантливые русские люди, Толстой, Достоевский, та же Марина Цветаева, не были интеллигентами, хотя элементы интеллигентщины, конечно, были и в них.

принимать, внутренне не соглашаться с его ложью. Это в каком-то смысле верно, но лишь с ограничениями.

Лишь в ограниченном смысле это верно потому, что термин «интеллигентный человек» — этот вовсе не синоним «честного человека». Интеллигентному человеку, правда, присуща некоторая тонкость чувств, известная мягкость, но сказать, что он в принципе не может терпеть лжи, что он всегда оппозиционен злу, было бы преувеличением. Интеллигенция слишком часто заблуждается на этот счет. Необходимо поэтому все время подчеркивать, что интеллигенция формируется совсем не по принципу порядочности или отвержения неправды, она формируется на идеях особого мировосприятия, в котором первенствуют специфические воззрения, возможно и связанные как-то с идеями Добра, но во всяком случае, очень и очень опосредственно. У интеллигенции, по сути дела, своя этика, своя нормативная система, в которой неприятие зла не есть императив, необходимость. Поэтому нельзя, оставаясь в пределах логики, доказывать, что интеллигенция «не приемлет Советской Власти, не приемля зла». Отношение интеллигенции и Советской Власти должно представляться неподготовленному наблюдателю неожиданным, иррациональным. Тем более иррациональным, что сам большевизм — это несомненно эманация интеллигенции, и что структура общества, впервые давшего интеллигенцию, и структура нынешнего общества кажутся очень мало меж собою схожи. Первое в историческом аспекте не требует доказательств и признается всеми, в том числе и самими большевиками. На втором остановимся подробнее.

В самом деле, когда интеллигенция появилась первый раз на исторической арене, в сороковых-пятидесятых годах прошлого века, в России имелось приблизительно следующее социальное деление: 1 — дворянство, которое в свою очередь распалось на: 2 — бюрократию, и 3 — земство; затем, собственно, 4 — интеллигенция, возникавшая из деклассировавшихся дворян и разночинцев; далее, 5 — духовенство; и наконец, 6 — зарождавшаяся капиталистическая прослойка. За исключением места, перечисляем лишь кратко, но уже и из этого перечня видно, какое богатство являли собой верхние слои общества! Все это достаточно определенные группировки, хотя и не вполне замкнутые, доступные для выходцев из других слоев, но со своими устойчивыми традициями, своим отличным укладом, часто со своей взаимодополнительной суб-культурой... За истекшие сто лет социальные трансформации заделали даже не столько нижние классы общества, сколько именно

этот верхний его класс. Уничтоженное исчезло дворянство, фактически нет сословного духовенства; процесс массовизации, обедняющий общество, происходит во всем мире, но здесь он усугублен еще тем, что искусственно умерщвлена такая важная и широкая сфера человеческой деятельности, как сфера предпринимательства. Результатом — поразительная скудость элитарного слоя. Уже нельзя сказать: «с купеческим размахом», или: «благородство дворянина», или хотя бы: «максимализм разночинца». Нет ни размаха, ни благородства, ни даже максимализма. Потенциальные купцы и дворяне за неимением возможностей, за отсутствием адекватного поля для приложения своих талантов, поневоле переходят в разряд интеллигентов. Люди с темпераментом коммивояжеров занимаются научной работой, несбывшиеся содержатели притонов выбиваются в академики, несостоявшиеся проповедники пишут статьи в академические журналы. Вообще всякий человек с высшим образованием автоматически зачисляется в интеллигенцию. И, как ни странно, это справедливо, справедливо потому, что у всех у них приблизительно одна, в общем слабо дифференцированная культура, один чрезвычайно убогий жизненный уклад, они все юридически в одном и том же положении: бесправных рабов тоталитарного государства. Но, как мы уже сказали, нужно поистине удивляться тому, что все это скопище действительно унаследовало от прежней интеллигенции ее существеннейшую родовую черту, большую или меньшую сопричастность коллективному отчуждению от государства.

Обычно из этого аморфного конгломерата выделяют еще партийную бюрократию, или, по Джиласу, «новый класс». Вероятно, в этой дифференциации есть смысл, но не следует забывать и того, что в значительной степени эта бюрократия смыкается с интеллигенцией. Бюрократия, в отличие от прежнего дворянства, духовенства или купечества, не обладает ярко выраженной собственной культурой, собственной производящей способностью. Ее производящая способность — это превращенная способность интеллигенции. И в этом смысле можно сказать, что партийная бюрократия это поляризация интеллигенции... Если рассмотреть «состав» интеллигенции пристальней, то можно увидеть, конечно, не только партийную бюрократию на одном из полюсов, но также и то, что вся эта среда, названная выше аморфной, на самом деле не так уж однородна, в ней есть и другие полюса. Это видно особенно хорошо, если разобрать картину в ее динамике, в становлении. За истекшие шестьдесят лет интеллигенция была, вне вся-

кого сомнения, разной: одно время большой процент в ней составляли, например, так называемые «бывшие»; точно так же она и вела себя различно. Мы вернемся еще к этому вопросу и попробуем дать некоторую систематику исторического пореволюционного пути интеллигенции. Но сейчас нас занимает, прежде всего, так сказать, «актив» интеллигенции, т. е. то, что делает ее, как было замечено, интеллигенцией в изначальном значении термина.

И здесь, повторяем, при всей алогичности остается фактом, что всегда, во все времена, все эти годы из подсознания русского образованного слоя не исчезало это специфическое **интеллигентское** включение. А именно: породив большевизм, напитав его собою, интеллигенция, едва только он из эфирной эманации, из призрака субстантивировался, стал реальностью, сделался властью, тотчас же захотела оттолкнуться от него, тотчас же ощутила его себе внеположным, тотчас же поняла, что этим она не решила своих проблем и должна снова терзаться своей чуждостью принявшей как будто этот большевизм земле. Иссушающая рефлексия на темы **власти** осталась неотъемлемым элементом интеллигентского сознания. Ему попрежнему оказалось почему-то естественным мыслить в терминах «мы» и «они» — мы и власть, мы и народ, мы и Россия. Попрежнему понятия «крушения», «распада», «заварухи» определяют собою топику интеллигентского мышления. Попрежнему магической силой обладают для него слова «скоро начнется», «началось». Попрежнему интеллигент живет «социальной модой», попрежнему не мыслит себя отдельно от **всех**, попрежнему грезит массовыми движениями, оперирует языком «революционных ситуаций». Попрежнему, как личность — он ничто. Он не верит в личность, в способность личности, вот этой данной эмпирической личности, себя самого, что-то сделать. То-есть, он, разумеется, ценит себя, он много понимает о себе, как понимал и раньше. Но объективно он безволен, слаб душою, не хочет брать на себя ответственности. Его рыцарские, индивидуальные, личные начала задавлены или их нет вообще.

Надо отметить, однако, два следующие положения. Если старая русская интеллигенция была наследницей православия и церкви, восприняв от них некоторые существенные черты — прежде всего, как мы видели, свою неотмирность — то последующее развитие шло по линии дальнейшего уничтожения этих признаков, уже в то время несколько атавистичных, пока они не были вытравлены почти совершенно, так что новые поколения наследуют уже не Православию, а непосредственно самой дореволюционной интел-

лигенции. Но это не только вполне естественно, но и облегчено двумя внешними условиями: насильственным почти абсолютным искоренением Православия, и — что не менее важно — особым характером большевистской историософии, сосредоточенной на вопросах борьбы за власть. Здесь получается, таким образом, некий любопытный порочный круг. С одной стороны, коммунистическая идеология сама есть дело рук интеллигенции. С другой стороны, эта идеология, уже в качестве принудительно насаждаемой, постоянно ориентирует интеллигенцию в направлении этих поистине «проклятых вопросов», не дает забыть ей о них. После того как преемственность христианской духовной традиции уничтожилась, после того как мечта о грядущем царстве справедливости почти исчезла, **проблематика власти** заняла в интеллигентской психике главенствующее место, фактически став религией. Это первое.

Второе столь же существенно. Дело в том, что это разъединение интеллигенции и власти на протяжении всей истории коммунистического режима оставалось лишь скрытым, никогда не доходя до явного разрыва. Нельзя усматривать причину этому лишь в терроре. Конечно, террор в истории Советской Власти играет исключительную роль. Но выводить позицию интеллигенции лишь из террора — это переоценить интеллигенцию. Интеллигенция не смела выступить при Советской Власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого, в первую очередь, что ей **не с чем** было выступить. Коммунизм был ее собственным детищем. Идеи, с которыми она пришла к нему, как были, так и остались ее идеями, они отнюдь не были изжиты. В том числе и идеи террора, классового террора. Интеллигенции нечего было противопоставить коммунизму, в ее сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом. Поэтому, если вообразить, что в какой-то момент коммунистический террор был бы снят, и интеллигенция получила бы свободу волеизъявления, то вряд ли можно сомневаться, что это ее свободное движение быстро окончилось бы какой-либо новой формой тоталитаризма, установленной снова руками самой же интеллигенции, — например, шовинистического, национал-социалистического типа, к которому особенно склонна сегодняшняя русская интеллигенция. Даже сейчас, спустя пятьдесят с лишним лет, интеллигенции все еще нечего сказать по существу, и многие интеллигенты до сих пор пребывают в убеждении, что идеи, «с которыми делали революцию, были в основе своей хороши, но извращены». Нужно ли удивляться поэтому, что интеллигенты так

легко становятся партийными идеологами или верными помощниками партийных идеологов?! Политика партии с этой точки зрения, как была, так и остается овеществленной мыслью интеллигенции. Интеллигенция предрасположена забывать об этой своей «партийной родне» или, по меньшей мере, делать вид, что забывает. А между тем, это родство имеет первостепенное значение. Благодаря ему все остальное, что могло бы быть зародышем подлинно нового в современной России, в том числе и неприятие власти, существует до сих пор где-то лишь на уровне эмоций, неясных влечений бессознательного протеста. Интеллигенция и не принимает власть, и одновременно боится себе в этом признаться, боится довести свои чувства до сознания, сделать их отчетливыми. Ибо тогда ей пришлось бы вслух назвать себя саму как виновницу всех несчастий страны за всю историю Советской Власти, пришлось бы ответить буквально за каждый шаг этой власти, как за свой собственный. Более того, интеллигенция должна была бы тогда взглянуть и в будущее, и там точно так же не увидеть ничего, кроме несчастий, вызванных ею самою. Интеллигенция знает об этом и у нее нечиста совесть. У нее разыгрывается настоящий «комплекс» по отношению к Сов. Власти. Страх не только пред жестоким наказанием, но еще сильнейший пред собственным признанием терзает ее. Она предпочла бы думать о Советской Власти, как о чем-то внешнем, как о напасти, пришедшей откуда-то со стороны, но до конца последовательно не может, сколько бы ни старалась провести эту точку зрения. Интеллигенция внутренне несвободна, она причастна ко злу, к преступлению, и это больше чем что-либо другое мешает ей поднять голову.

2.

Итак, на всем бытии интеллигенции лежит отпечаток всепроникающей раздвоенности. Интеллигенция не принимает Советской Власти, отталкивается от нее, порою ненавидит, и, с другой стороны, меж ними симбиоз, она питает ее, холит и пестует; интеллигенция ждет крушения Советской Власти, надеется, что это крушение все-таки рано или поздно случится, и, с другой стороны, сотрудничает тем временем с ней; интеллигенция страдает, оттого что вынуждена жить при Советской Власти, и вместе с тем, с другой стороны, стремится к благополучию. Происходит совмещение несовместимого. Его мало назвать **конформизмом**, конформизм — это вполне законное примирение интересов путем обоюд-

ных уступок, принятое в человеческом обществе повсеместно. Недостаточно также обличать поведение интеллигенции как **приспособленчество**. Это было бы односторонней трактовкой. Приспособленчество — это уже производная от более глубоких процессов. Если это и **лакейство**, то лакейство не зауридное, а лакейство с вывертом, со страданием, с «достоевщиной». Здесь сразу и ужас падения и наслаждение им; никакой конформизм, никакая адаптация не знают таких изощренных мучений. Бытие интеллигенции болезненно для нее самой, иррационально, шизоидно.

С точки зрения теоретической, вся эта группа явлений может быть приведена к единству посредством включения в обиход нового концепта, формулируемого как **принцип двойного сознания** (2). Двойное сознание — это такое состояние разума, для которого принципом стал двойственный взаимопротиворечивый, сочетающий взаимоисключающие начала этос, принципом стала опровергающая самое себя система оценок текущих событий, истории, социума. Здесь мы имеем дело с дуализмом, но редкого типа. Здесь не дуализм субъекта и объекта, не дуализм двух противоположных друг другу начал в объекте, в природе, в мире, добра и зла, духа и материи, но дуализм самого познающего субъекта, раздвоен сам субъект, его этос. Поэтому употребленное ранее выражение «шизоидность» не годится: оно несет слишком большую эмоциональную нагрузку, слишком предполагает патологию. Между тем, интеллигентская раздвоенность, хотя и доставляет неисчислимые страдания и ощутимо разрушает личность, все же, как правило, оставляет субъекта в пределах **нормы**, не считается **клинической**, что объясняется, безусловно, прежде всего тем, что двойное сознание характеризует целый социальный слой, является достоянием большой группы, а не есть исключительно индивидуальное сознание. Поэтому, оставаясь непреодоленным в разуме, разлад, тем не менее, преодолевается экзистенциально, в особого рода скептическом или циническом поведении, путем последовательного переключения сознания из одного плана в другой и сверх-интенсивного **вытеснения** нежелательных воспоминаний. Психика, таким образом, делается чрезвычайно мобильной; субъект непрерывно

(2) Понятие «принцип двойного сознания» взят нами из фантастического романа Дж. Орвелла «1984», где содержание принципа раскрывается, например, на след. трех лозунгах победившей партии: «Мир — это война», «Свобода — это рабство», «Любовь — это ненависть». На этом же строится весь сюжет романа: люди и знают и не знают правды.

переходит из одного измерения в другое, и двойное сознание становится **гносеологической нормой**.

В той общей форме, в какой описан здесь принцип двойного сознания, довольно очевиден его генезис из кантовской трансцендентальной диалектики, где рассматриваются **антиномии**, к которым приходит человеческий разум в своем стремлении к границам чувственно воспринимаемого мира. Кантовские антиномии, как известно, это система из четырех пар взаимопротиворечивых утверждений, каждое из которых не может быть ни окончательно доказано, ни опровергнуто опытом, каждое из которых само по себе свободно от противоречий, каждое из которых — как тезис, так и антитезис в каждой антиномии — имеет на своей стороне одинаково веские и необходимые основания. При этом антиномии это не отвлеченные положения, но кардинальные проблемы, относящиеся к самому средоточию бытия — существованию самого Бога, человеческой свободы и бессмертия — и неизбежные для нашего разума. При этом, описывая состояние человека в процессе постижения этих крайних проблем, сам Кант уже употребляет в «Критике чистого разума» слова «колебания», «разлад и расстройство». Его антиномии, говоря его же словами: «...открывают диалектическую арену для борьбы, где всякий раз побеждает та сторона, которой позволено начать нападение, а терпит поражение та, которая вынуждена только обороняться. Поэтому вооруженный рыцарь, все равно ратует ли он **за доброе или дурное дело** (жирный шрифт наш — авт.), может быть уверен в победе, если только заботится о том, чтобы иметь привилегию нанести удар последним...» (И. Кант, Соч. т. 3, стр. 401).

Учение Канта вряд ли может быть опровергнуто. Оно навеки вошло в наше мышление. Современный человек, и не зная того, в своей «частной» философии стихийно оказывается в большой мере кантианцем. Парадокс, однако, состоит здесь в том, что несмотря на всю неопровержимость, доктрина эта не делается оттого более верной. Она остается справедливой в одной определенной сфере, сфере чистого, изолированного от «вещей в себе» разума. Этот разум всегда действует лишь по **эту** сторону, он не в силах проникнуть в суть вещей, он заключен в системе своих собственных данных, в поверхностном мире явлений. Кант не допускает возможности **трансецезуса**, выхода в мир ноуменальный, не допускает возможности сверхчувственного постижения глубины бытия. Другими словами, здесь имеет место принципиально **безрелигиозное** сознание.

Антиномизм чистого, атеистического разума является поэтому общечеловеческим в той мере, в какой человечество утрачивает религиозные истоки и переходит на позиции, так называемого, научного знания. Почему именно в России этот антиномизм дал такую неожиданную вспышку — это требует безусловно специального исследования. Но наличие связи с историей русского атеизма совершенно очевидно. Русские люди (и во главе их русская интеллигенция) зашли в своем атеизме дальше чем любая другая, самая легкомысленная нация. Атеизм русской интеллигенции действительно был верой наизнанку. Уверовав в Канта, русский интеллигент решил, что легко обойдется теперь без Бога. Если, однако, развить дальше намек о лакействе русской интеллигенции и о «достоевщинке», то можно достаточно хорошо понять и логику последующего разворота событий. Ударившись в атеизм, русская интеллигенция, и впрямь, точь-в-точь как Смердяков, решила, что «...коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно тогда ее вовсе!». Результат этой смердяковской интеллигентской дедукции слишком хорошо известен — это кровь миллионов, это террор, это гибель русской культуры!

Если сегодня интеллигенция не отвергает добродетель совершенно, то лишь потому, что на опыте знает, что добродетельный человек лучше разбойника, с ним безопаснее жить бок о бок, и что, следовательно, невыгодно призывать к анархии и произволу, хотя, конечно, в случае нужды можно добродетелью и поступиться. Произвол, итак, ненавидят не из-за его безнравственности, а из-за того, что слишком от него уже устали. На самом деле устойчивых моральных принципов нет. Нет различия добра и зла, все «относительно», по мнению русской интеллигенции. Хорошо зная себя, свои слабости, сегодняшней русский интеллигент готов «понять и извинить» что угодно. Он оправдывает предательство, доносы, пасквильные статьи в газетах, написанные его знакомыми, ложь в публичных выступлениях. Громя на собраниях отступников, интеллигент возвращается домой и компенсирует себя, издеваясь в своих четырех стенах над теми, с кем только что был заодно, но кто менее интеллигентен на его взгляд. Сам он вступил в партию потому, что «в партии необходимо увеличить процент порядочных людей». Но в глубине души он сомневается, не должна ли она быть судима, как судима была гитлеровская партия? Но, с другой стороны, как судить всех этих людей, с такими открытыми лицами, примерных мужей и гостеприимных хозяев? И кроме того, «ведь если не они, то на их место какие-то другие, менее интеллигент-

ные, менее порядочные!»! Партийная книжка жжет интеллигенту грудь, но он не знает, как выбраться из этого порочного круга.

Проблема и в самом деле часто представляется как будто неразрешимой. Сама формулировка категорического императива — поступай так, как если б правило, по которому ты совершил свой поступок, посредством твоей воли могло стать всеобщим законом — позволяет дать в современных условиях любую многосмысленную трактовку любому действию. Психологизм нашего века снижает здесь возможные преграды тем, что каждый уверен, что уж его-то намеренья во всех случаях самые благие, и если б все были таковы, каков он, и руководствовались такими же намереньями, то и действительно общий результат был бы великолепен. Но это-то и порождает практику двойного сознания. Ввиду этой апории представляется, что и вообще проблема выбора меж добром и злом неразрешима, когда акту выбора уже предшествует какое-то прошлое, особенно внелично-историческое прошлое. Классический образец такого рода мнений дают слова Юрия Андреевича Живаго в романе Пастернака: «Я сказал А, но не скажу Б. Я признаю, что да, без вас Россия погибла бы, но вы пролили столько крови, что все ваши благие мечты...» и т. д. Он говорит это, но далее, по истиннейшей из логик, логике гениального художественного произведения выходит, что кто сказал А, на самом деле все-таки должен сказать и Б. А кто не хочет этого говорить, тот уходит из жизни. Даже если А за него сказали другие, а сказать Б предоставлено в некотором диапазоне. Иными словами, история, предшествующие акты выбора, как будто ограничивают следующий выбор, ставя индивида в такие рамки, где он вынужден выбирать лишь из некоторого набора, притом весьма относительные ценности. Вследствие чего, человек и не может определиться, не знает, что хорошо, а что плохо. «Да, большевики — это не хорошо, но, с другой стороны, без них Россия все равно бы погибла. Значит, в их явлении была какая-то закономерность, а раз так, то...».

Вся сложность, повидимому, в том и состоит, что деление в анализе следует проводить здесь не через категории «добра» и «зла» непосредственно, а через категории «свободы» и «необходимости». Разумеется, с тем, чтобы выйти в конце концов к добру и злу. Это так постольку, поскольку то, что произошло в России — а отчасти, кажется, к этому идет дело и во всем мире, во всяком случае миру грозит, — это трагедия добровольного отказа от свободы. Трагедия, предугазанная в «Великом инквизиторе». Когда

человек отказывается от Бога, и, следовательно, от свободы — ибо «где Дух Господень, там Свобода», — он тем самым избирает своим принципом — **необходимость**. Становится исповедником, или, что в данном случае то же самое — рабом необходимости. И вот тогда-то именно она, эта необходимость, и избавляет его от нужды выбирать между добром и злом, избавляет от ответственности, снимает вину за содеянное. Уже не он выбирает, но выбирает за него она, он лишь вынужден следовать необходимости, он поставлен перед необходимостью, поставлен в такие условия. Отказываясь от своей свободы, человек отказывается тогда и от собственной личности, он перестает видеть в себе довлеющую самой себе ценность и — что бы он ни думал о себе! — становится лишь звеном в родовой цепи, лишь мостком для следующих поколений, лишь элементом — необходимым, конечно, но элементом — в системе.

Отсюда и проистекает та философия служения общей пользе, философия идеального функционирования элемента в системе (особенно в сугубо интеллигентском варианте «просветительства»).

Рассуждение об общей пользе осталось любимейшим рассуждением русского интеллигента. Им он успокаивает свою совесть, растревоженную очередным компромиссом. С его помощью он оборачивается к миру вторым своим лицом, оставляя временно свой пессимизм и заставляя себя верить в конечное торжество разума. Подлинная корыстная мотивация поступков идеально маскируется при этом, настоящие стремления быстро и накрепко забываются. Ситуация в точности совпадает с ситуацией при анализе сексуальных влечений. Возражения или попытка нарисовать истинную картину вызывают бурный протест, агрессивную реакцию, желание противоречить, обиду. Как же, тот, кто не понимает необходимости такого поведения, его полезности для общества, его мудрости, тот «экстремист», «большевик наизнанку», «вообще не очень умный человек». Он хочет, чтобы все снова **повторилось**, он **мешает**, ему мало крови... Он не понимает, что сейчас возможно только медленное улучшение, улучшение в первую очередь через распространение **знания**, через постепенное **просвещение** живущих в условиях недостаточной информированности людей.

Под знаменем просвещения на Руси, начиная с Петра, творилось много чудес. В настоящее время «просветительство» в его чистом виде выступает особенно в искусствах и гуманитарных науках. Именем просвещения создаются все эти поразительные произведения, внешне верные букве коммунистической идеологии,

в которых внимательному глазу за нагромождениями словесной шелухи предлагается выловить одну-две куцые крамольные мыслишки. Авторы простодушно уверены, что, обманывая цензуру многократным славословием, они совершают гражданский подвиг, они надеются, что эти «тайные» мысли их и будут семенами долгожданного просвещения. Поэтому доблестью считается употребить в любом — самом бранном! — контексте фамилию запрещенного философа, изложить под маркой критики какую-нибудь неправозверную концепцию. Чаще всего, к сожалению, все это самообман. Крамольность эта обычно ничтожна. Заметить слегка отличающийся от официозного оттенок суждения почти не представляется возможным. Написанная как будто блестяще, точным отработанным языком статья или книга — «нечитабельна» и вызывает гнетущее впечатление. Точно так же любая пьеса, любой кинофильм, любая поэма. Лишенные возможности настоящего воплощения, творческие усилия уходят на достижение формальных эффектов: безупречных со стороны формы, но пустых, выхолащенных по содержанию произведений. За этими бесплодными занятиями оскудевают способности, мельчают таланты. Спустя несколько лет художник или мыслитель, добившись порою внешнего успеха, накопив часто незаурядные по мировым стандартам профессиональные знания, обнаруживает, что неспособен уже что-то сказать свое, оригинальное, значительное, что обречен до конца дней своих говорить этим примитивным при всем его блеске языком, обсасывая чужие концепции, популяризируя чужие открытия.

Примечательна одна особенность современного интеллигентского просветительства. Препрежнее просветительство шло **сверху вниз**. Элита, в лице самого государя и приближенных, просвещала нацию, интеллигенция просвещала народ. Порядок был более или менее естественным. Нынешний интеллигент просвещает либо своих сотоварищей, таких же интеллигентов, от которых он почему-нибудь оторвался вперед, либо даже льстит себя надеждой просветить саму государственную власть, начальство! Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть, что им только этого и не хватает. Он надется облагородить их, потихоньку ввести в их обиход новые понятия, прежде всего о праве, о законе, о других возможных стилях управления. Мысль о просвещении народа отошла на задний план, хоть вслух и не отрицается. Просветительство, таким образом, идет **снизу вверх**. Интеллигенция стала похожа на мужика, верившего, что барин

добр, но управляющий обманывает его и нужно лишь, чтобы он узнал правду.

Указанное нарушение нормального порядка вещей вскрывает некоторую важную подробность, которая во всяком просветительстве затушевывается, и тем более существенна в просветительстве сегодняшнем. Просветительство обычно рядится в одежды бескорыстной заботы о ближнем. Некто, обладающий избытком знаний якобы великодушно делится ими со своими ближними, со своими малыми братьями, одаряет их. Но бескорыстие это лишь кажущееся. Всякое просветительство самым теснейшим образом связано с идеями об исправлении нравов. Даже более того: с идеями о спасении, посредством исправления нравов. За просветительством всегда прячется надежда секуляризованного человека, что отвлеченное знание спасет мир от хаоса. А параллельно этой надежде — леденящий душу ужас перед хаотической звериной природой падшего человека. Просветительство поэтому лишь изящный занавес, прикрывающий этот отвратительный страх, лишь заклятие; по сути дела, магическая знаковая система, позволяющая обойти, не назвать таящееся поодаль чудовище. В просветительстве мало истинного света; если бы мы были честнее, нам следовало бы подыскать этому комплексу аффектов другое обозначение. Немецкое нейтральное «культуртрегерство» было бы здесь и то уместнее.

И уж русской интеллигенции в первую голову надо было бы спросить себя: откуда у нее такая уверенность, что именно этим путем придет спасение? Ведь, казалось бы, ясно, что просветительство может быть только добавочным моментом, поскольку оно лишь распределяет уже созданные блага, но не создает новые. Просветительство решает распределительную задачу. Вера в просветительство напоминает наивную веру коммунистов, что жилищную проблему можно легко решить, если занять особняки и квартиры, выгнав их немногочисленных сравнительно прежних владельцев. «Уже теперь, — пишет Ф. Энгельс, — в больших городах достаточно жилых зданий, чтобы тотчас помочь действительной нужде в жилищах при разумном использовании этих зданий. Это осуществимо, разумеется, лишь посредством экспроприации теперешних владельцев и посредством поселения в этих домах бездомных рабочих, живущих теперь в слишком перенаселенных квартирах. И как только пролетариат завоюет политическую власть, подобная мера, предписываемая интересами общественной пользы, будет столь же легко выполнима, как и прочие экспроприации и занятия квартир современным государством» (цит. по книге В.

Ленина «Государство и революция», изд. 1952 года, стр. 53). Экспроприруем и расселим! — весь кошмар советских коммунальных квартир, советского быта зиждется на этой идее, руководствуясь которой за сорок лет были построены считанные единицы жилых домов, а перенаселенность квартир, безусловно, и не снилась рабочим во времена Энгельса. Все сегодняшние просветители прошли через этот опыт. Как будто бы можно и удостовериться. Так нет же, из поколения в поколение передается жалкая идейка, упование слабых духом, измельчавших людей. Их энергия куда-то растворилась, им легче заниматься просветительской уравниловкой, чем идти вперед, в неисследованные высоты. Они не хотят брать на себя ответственности сказать что-то свое, новое, построить что-то, они лгут самим себе, изворачиваются, притворяются скромными. Они живут в призрачном мареве этих «скромных» надежд и дешевых подсоветских соблазнов.

Вся история интеллигенции за прошедшие полвека может быть понята, как непрерывный ряд таких соблазнов, вернее, как модификация одного и того же соблазна, соблазна поверить, что исправление нравов наконец совершилось, что облик Советской Власти начал меняться, что она изменила своей бесчеловеческой сущности. Все эти годы, с самых первых лет, интеллигенция жила не разумом, не волей, а лишь этим обольщением и мечтою. Жестокая действительность каждый раз безжалостно наказывала интеллигенцию, швыряла ее в грязь, на землю, разочарования были такой силы, что, казалось, от них никогда не оправиться, никогда снова не суметь заставить себя поддаться обману. Но проходило время и интеллигенция снова подымалась в прежнем своем естестве, легковерная и легкомысленная, страдания ничему не научали ее.

Для полноты списка надо начать описание исторического советского пути интеллигенции с революционного соблазна, соблазна стихии, борьбы, крушения старого, соблазна «музыки революции». «Всем сердцем, всем телом, всем сознанием — слушайте Революцию» (Ал. Блок). Эта музыка была, как известно, оплачена кровью, реками крови. Интеллигенция поняла как страшно она заблуждалась только тогда, когда и крови уже не стало ни в ком, и некому было уже играть и некому слушать.

Вслед за тем, немедленно, к 1920 году возникает надежда, что за прекращением начавшей утихать как будто бойни, утихнет и сама Власть. Это соблазн «сменовеховский», соблазн таганцевского заговора. Расчет на так называемое «термидорианское» пе-

рождение большевизма. Во Французской революции, вслед за террором Конвента, установилось умеренное республиканское правление, водворившее законность и порядок. Считалось, что такова же будет эволюция Советской Власти. Подавление кронштадтского матросского мятежа рассматривалось как первый шаг на этом пути. Сюда же вплотную примыкает по времени и НЭП, который поэтому можно не рассматривать отдельно. Когда приблизительно к 27-му году НЭП неожиданно кончился, интеллигенция была сильно разочарована, но не предвидела еще, что грозит ей впереди.

После некоторого спада, вызванного неопределенностью обстановки, вместе с началом индустриализации и коллективизации, примерно к 1930-му году, возникает новое искушение. Интеллигенция старается поверить, что кровь и смерть, разруха и голод были недаром, что в новой очистившейся в страданиях России воцаряются, наконец, счастье и разум. Интеллигенция хочет поверить, что народ снова был прав, что правы были большевики все это время, наперекор всему ведя страну известной им дорогой, интеллигенция же, как всегда, заблуждалась. Этот соблазн можно назвать **социалистическим**. Хотя в опустевших деревнях голодали, по дорогам бродили толпы нищих, население страны не увеличивалось, а лагеря наполнялись первыми миллионами эзков, но верхушку интеллигенции уже подкармливали, и, трусливо закрывая глаза на правду, она убеждала себя, что вскоре и вся страна заживет так же. «Ты рядом, даль социализма!» — это упоенное восклицание поэта, всю свою дальнейшую жизнь употребившего на то, чтобы смыть с себя позор этих строк, достаточно характеризует интеллигентскую философию той эпохи. Наваждение окончилось на этот раз страшным 37-ым годом. Все живое было уничтожено, нация снова стала нацией рабов. Человек, низведенный до скотского состояния, не мог ни говорить, ни чувствовать. Лишь страх, животный страх владел им. Человек ощущал себя червем, он заползал в щель, он вытраивал из себя все человеческое, равняясь на последнего мерзавца. Страх был непереносим. Казалось, нельзя больше терпеть, казалось, сама земля не вынесет больше этого. И все же, почти не ослабевая, это продолжалось до самого июня 1941 года, до начала войны.

Интеллигенция встретила войну с облегчением и радостью. Интеллигенту и сейчас приятно вспомнить о ней. Ощущение трагедии народов лишь обостряет его чувство, делает их полновесней. Он говорит, конечно, о горе матерей, о страданиях жен, о материальном ущербе. Но за всем этим легко проглядывает восторг

и веселье тех лет. Интеллигент снова был при деле, он снова был нужен своей земле, он был со своим народом. Неважно стало: кто правит этим народом, с чьим именем на устах он идет умирать; неважны стали все моральные проблемы, могла успокоиться совесть, можно было ни о чем не думать. Зло опять было где-то вовне, интеллигент опять видел перед собой эту цель — уничтожить зло, интеллигент опять становился спасителем человечества. С оружием в руках он чувствовал себя впервые после всех унижений сильным, смелым, свободным. Он надеялся, что и по возвращении это чувство не покинет его, что Советское государство, которого он снова стал полноправным гражданином, это государство, пройдя через огонь войны, совершив великий подвиг, преобразится...

Ответом был торжествующий сталинский византизм, процессы борьбы с космополитизмом и новые волны арестов. Машина крутилась. Рабовладельческому государству нужно было восстанавливать и развивать свое хозяйство. Хотя теория и опровергала экономичность рабского труда, даровой труд все равно казался выгоден. Контингенты пленных немцев и вернувшихся из плена русских не могли удовлетворить растущих запросов промышленности. Привыкнув питаться человечиною, система не терпела уже другой пищи. Аппетиты росли... Это было время, когда интеллигенция, еще не вся, но в лице лучших своих людей, впервые преодолевая страх, задумалась. В лагерях, в труппах коммунальных квартир у нее нашлась возможность подумать.

Вряд ли, однако, в условиях сталинского тоталитарного террора ей удалось бы довести свои помыслы до исполнения. На помощь пришло время. За смертью Сталина, система сама собой пошатнулась сверху донизу так, словно она держалась им одним и теперь неминуемо должна распасться. Интеллигенция ликовала. Начиналась **оттепель**. Снова, в который раз, забыв кто она и где она, интеллигенция верила, что за оттепелью недалеко уже весна и лето. Она снова не захотела трезво оценить ситуацию, приготовить себя к долгой и трудной борьбе, снова рассчитывая, что все произойдет само собой. Скорее всего, правда, она и не могла бы бороться. За тридцать с лишним лет она отвыкла работать, поглупела, была больше стадом, чем единством... Неудивительно, что в удел ей достались опять сначала одни надежды, а потом палки. Финал интеллигентской оттепели был в октябре 1956 года в Венгрии. Хрущевские культурные погромы окончательно придали интеллигенции тот вид, который имеет она сегодня.

Некоторый минимум свободы, что дала интеллигенции Власть в эти годы, произвел благоприятное действие. Интеллигенция посвежела и несколько окрепла. Она наверстала отчасти упущенное, ликвидировав в какой-то мере зиявшие пробелы в своем образовании. Она возобновила некоторые культурные традиции. Она осмелела до того, что стала порой подымать голос, отвергая предписываемые «нормы», стала фронтировать и в двух-трех случаях даже выступила открыто против власти. Интеллигенция знает теперь **какой** должна быть Советская Власть и надеется внушить это знание самой власти. Она почувствовала к себе уважение, и как всегда, немедленно предалась очередным иллюзиям. Мы живем в самый разгар этого нового соблазна. Соблазна, как он уже был назван выше, **просветительского**, или — поскольку он является также идеологией технической и научной интеллигенции — соблазна **технократического**. Это не прежняя «святая» вера в прогресс, но надежда, что зло может быть остановлено при помощи научных методов управления, планирования, организации и контроля. Свобода необходима потому, что подавление свободы мешает развитию производительных сил, что в свою очередь необходимо для того, чтобы спасти все возрастающее в численности человечество от голода и, в конечном счете, самоуничтожения. Благоденствие настанет вместе с внедрением в народное хозяйство кибернетики и научных методов. Современное государство — это гипер-система; для того чтобы она нормально функционировала, нужны адекватные по сложности системы управления и контроля. Вот вкратце лозунги современной технократии...

Итого, с 1909 года было шесть соблазнов. Соблазны революционный, сменевеховский, социалистический, военный, соблазн оттепели и соблазн технократический или просветительский. Таковы направляющие извращенной интеллигентской духовности. Здесь надо отметить одно важное обстоятельство. Во всех этих устремлениях, образующих рациональную основу соблазна, самих по себе взятых, нет ничего плохого. Хороши демократические, правовые движения, никак не может быть осужден патриотизм, просветительство — необходимо, как необходимо внедрение научных методов и хорошо организованного контроля в управление хозяйством. Соблазнами эти устремления становятся лишь постольку, поскольку в них ищут **легкого** решения, поскольку через них хотят уйти от сложности, поскольку ими оглуляют самих себя. И вот тут-то и не следует думать, что эти соблазны, именно в качестве соблазнов, преодолены, **изжиты** интеллигенцией. Нет, они

лишь отодвинуты на задний план, так как изменилось время. Но внутренняя их ложь не понята, жива и, едва только представится подходящий случай, снова покажет свою силу. Поэтому наряду с приведенной хронологией можно дать их существующими единовременно. Тогда обнаружится следующее распределение. 1 — Соблазн «музыки революции» существует в своем первоначальном виде. Помимо того, что интеллигенция романтизирует прошлое, героико гражданской войны, походов, она, как уже говорилось выше, попрежнему равнодушна к словам «крушение», «распад», «скоро начнется» и т. д. — для нее попрежнему это слова-символы. Без этого интеллигенция перестала бы быть интеллигенцией. 2 — Соблазн сменевеховский — это нынешний «демократический» соблазн, т. е. вера, что Россия осознала, наконец, идею **права**, и теперь сравнительно нетрудно претворить эту идею в жизнь. 3 — Соблазн социалистический. Этот соблазн постоянно возникает у интеллигента, как искушение поверить, что происшедшее было **необходимо**. 4 — Соблазн, названный военным, выступает в сложных ситуациях современной жизни, как соблазн красного патриотизма. Он смыкается в этом качестве с искушениями национал-социализма и русского империализма. 5 — Соблазн оттепельный. Как и революционный соблазн, он живет в тайниках интеллигентского сознания всегда, в виде надежд на перемены. По сравнению с революционным соблазном, он боязливее, сентиментальнее. Крушение все же пугает теперешнего интеллигента, но перемен он ждет с нетерпением, и, затаив дыхание, ревностно высматривает все, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены. Наконец, 6 — соблазн, технократический, также пока остается самим собою.

Это технократическое, последнее по счету увлечение окончательно свидетельствует, повторяем, что до настоящего прозрения интеллигенции еще далеко. Интеллигенция видит сейчас только одно: что успех технократической идеи возможен, что партия, власть как будто сама идет ей навстречу, принимая эти реформаторские планы. Власть тоже попала как будто на удочку очередной утопии. Им обоим рисуется уже в розовой дымке работающее в режиме хорошо налаженного механизма государство, в котором исключены произвол и «волютаризм». Интеллигенция не желает видеть только того, что Зло не обязательно приходит в грязных лохмотьях анархии. Оно может явиться и в сверкающем обличье хорошо организованного фашистского рейха. Оно не падет само по себе от введения упорядоченности в работу гигантского

бюрократического аппарата. От внедрения вычислительных машин этот аппарат не станет более человеческим. Наоборот, еще четче, еще хладнокровней он сможет поработать своих подданных, еще совершеннее будет угнетать другие народы, еще надежнее держать мир в страхе. Зло никогда не падет само. Оно будет принимать самые изощренные, тонкие формы, цивилизуясь, будет идти на какие угодно уступки. Но никогда не утратит тождества с самим собою, не допустит себя перейти за грань, где начинается человеческое. Чешские события показали это, кажется, довольно ясно. Нельзя малодушно и лениво отдавать случаю дело собственного спасения. Нельзя надеяться победить Зло лишь внешними средствами, техническими средствами. Нельзя надеяться спустить все на тормозах. Нельзя надеяться всерьез на конвергенцию.

Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет она потешить Дьявола? Для ровного счета ей остался, повидимому, еще один, последний, седьмой соблазн. Больше одного раза земля уже не вынесет. Она не стерпит такого нечестия. Будет ли это новый русский мессианизм, по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия, или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксального сталинского коммунизма? Но чем бы это ни было, крушение его будет страшно. Ибо сказано уже давно: «Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят» (Лук. 17,1).

В. ГОРСКИЙ

РУССКИЙ МЕССИАНИЗМ И НОВОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

И все твердят лъстецы России:

Ты — третий Рим, ты — третий Рим.

Вл. Соловьев.

Духовный и экономический кризис, в котором находится сегодня советская Россия, а также нравственное и политическое банкротство коммунистической системы в целом, заставляют многих все чаще и чаще задумываться над выработкой иного идеала государственной и общественной жизни, нежели идеал коммунистический. Несомненно, что систематическая и детальная разработка этого идеала есть дело будущего, но и сегодня, тем не менее, уже можно говорить о тех общих принципах, которые должны быть положены в его основание. В этом нет ничего искусственного и преждевременного: процесс напряженных поисков более совершенных форм государственной и общественной жизни есть объективный факт, который можно по разному истолковывать, но который нельзя не принимать в расчет.

Эти поиски независимо от мировоззрения и политических взглядов окрашиваются в традиционные для русской мысли славянофильские или западнические тона, которые означают сегодня не столько связь с общественным движением сороковых годов прошлого века, сколько психологическую ориентацию в решении принципиальных вопросов. Не вдаваясь в их подробную характеристику, следует заметить, что противопоставление двух начал — России и Европы, Востока и Запада, — происходящее почти на всех уровнях сознания и культуры, лишь косвенным образом задевает ту основную проблему, от решения которой зависят многие остальные вопросы (вопросы идеологии и тактики будущего движения освобождения или вопросы государственного устройства и культурного возрождения). Эта проблема — **проблема русского национального самосознания** и в первую очередь той формы его проявления, которая получила название «московского империализма». Это специфически русская проблема: в странах коммунистического лагеря и «союзных республиках» она принципиально разрешима посредством идеи национальной независимости и автономии, идеи, которая легко объединяет как неоккоммунистические,

так и антикоммунистические силы. В России же, первой создавшей режим коммунистической диктатуры и с помощью оружия поддерживающей его в других странах, такого рода решение принципиально невозможно.

Сознание русского человека, будь то сознание ортодоксального коммуниста или оппозиционера, до сих пор очаровано гордой проповедью старца Филофея об особом призвании России. Русский человек, если он только способен самостоятельно мыслить, до сих пор мучается вопросом: что такое Россия? в чем смысл ее существования? каково ее назначение и место во Всемирной истории? Не политические и правовые симпатии, а неизжитый еще в русском сознании максимализм и сегодня заставляет ставить дилемму: или все — или ничего, или Россия окончательно погибла — или ее ждет величайшее будущее. Никакой середины.

Предполагаемая исключительность миссии России вот уже четыре столетия опьяняет сознание русского человека. Даже П. Я. Чаадаев, отрицавший самобытность духовной жизни в русской истории, считал тем не менее, что «России суждена великая духовная будущность: она должна разрешить все те вопросы, о которых спорит Европа». У славянофилов и почвенников эта мысль принимает категорические формы: «Европу и ее назначение окончит Россия, ибо только ей принадлежит будущее», — писал Ф. М. Достоевский. Подобные высказывания можно найти у Хомякова и Герцена, у К. Аксакова и Н. Данилевского, у Вл. Соловьева и Н. Бердяева.

Но что особенно важно: вера в исключительное призвание России есть достояние не только художественной, философской и религиозной мысли, но и основание социальной, политической и религиозной жизни как России московской и императорской, так и России советской. В последнем случае эта вера принимает предельно уродливую и агрессивную форму советского империализма.

Сегодня перед всеми нами стоит задача глубокого и радикального пересмотра всех тех основ, на которых выросло наше национальное самосознание, а также всех тех упований и соблазнов, в атмосфере которых оно пребывало до сих пор.

1.

Не следует думать, что мысль об особой миссии России есть обычная гипертрофия национального чувства, в большей или меньшей степени свойственная почти всем народам. Идея националь-

ного призвания в России имеет более глубокие корни, нежели натуралистический или эстетический национализм. Для русского национализма характерны религиозно-историософские, а не природно-исторические истоки. Истинная почва русского национализма — религиозный мессианизм, имеющий яркий аналог с мессианизмом древне-европейским (1). Как и в древнем Израиле, в основе русского национального самосознания лежит идея богоизбранности и религиозного призвания народа, утверждение особого завета между ним и Богом. Сущность этого воззрения выражается в убеждении, что среди других народов только данный народ способен осуществить царство Мессии, явить окончательный смысл истории.

В России средневековой мессианизм выступал в форме исповедания русского царства как единственного православного царства во всем мире, призванного до конца истории сохранить чистоту Христовой веры, чтобы вернуть ее Богу в пору наступления конца мира. В России послепетровской эта концепция трансформировалась в идею «Великой России», постепенно теряя в официальной идеологии свою религиозную окраску, она нередко выступала в грубых формах агрессивного империализма или разнузданного шовинизма. Однако, в народных низах, вплоть до XX века, пути России мыслились по-прежнему в категориях московского царства. Славянофилы и Достоевский мессианское назначение России соединяли с особым назначением русского народа — «единственного во всей земле народа-богоносца, грядущего обновить и спасти мир». Вл. Соловьев (в его утопический период) мессианское назначение России видел в идее соединения Церквей и теократическом устройстве русского государства, состоявшем «в точном восстановлении образа Божественной Троицы на земле». В России советской мессианизм связан с верой во вселенское торжество коммунизма, к которому Россия должна привести остальное человечество...

(1) Два «понятия мессианизма и миссионизма часто смешиваются и подменяют одно другое, хотя между ними существует принципиальное различие. Мессианизм происходит от Мессии, миссионизм — от миссии. Мессианизм гораздо притязательнее миссионизма. Легко допустить, что каждая нация имеет свою особую миссию, свое призвание в мире, соответствующее своеобразию ее индивидуальности. Но мессианское сознание претендует на исключительное призвание, на призвание религиозное и вселенское по своему значению, видит в данном народе носителя мессианского духа. Данный народ — избранный народ Божий, в нем живет Мессия». Н. А. Бердяев, «Алексей Степанович Хомяков», М., 1912, стр. 209.

Но какова бы ни была разница между названными формами мессианского сознания, общим для всех остается телеологическое понимание истории и исторического процесса, как движения к конечному торжеству Смысла и Добра. В России средневековой историософское сознание по преимуществу эсхатологично: конец мира есть конец истории, переход в новый эон, наступление Царства Божия. В России послепетровской, получившей прививку западно-европейского просвещения, религиозная концепция «священной истории» секуляризируется, трансформируется в рационалистическую теорию прогресса, согласно которой история неминуемо должна кончиться торжеством всеобщего Счастья, Добра и Справедливости. В русском коммунизме эти обе идеи слились воедино. Эсхатологическое начало предстает в учении о все ухудшающемся положении пролетариата, которое, совпадая с неотвратимыми катастрофами в экономике, оканчивается Мировой Революцией — «скачком из царства необходимости в царство свободы». Что же касается теории прогресса, то она выражается в недоказуемом убеждении, что повсеместное торжество коммунизма будет, в свою очередь, бесконечным торжеством всеобщего счастья и благоденствия.

Однако, при всех различиях религиозно-эсхатологического, прогрессистского или коммунистического миропониманий, тем не менее, нечто постоянное в них сохраняется. Это — устремленность в будущее, ожидание, что в грядущем будет явление окончательного смысла в жизни народов. Такое миропонимание для России особенно характерно. Ведь Россия, согласно меткой характеристике Г. Шпета, «не просто в будущем, но в Будущем вселенском. Задачи ее — всемирные, и она сама для себя — мировая задача. Тут и специфическая национальная психология: самоедство, ответственность перед призраком будущих поколений, иллюзионизм, вызываемый видением нерожденных судий, неумение и нелюбовь жить в настоящем, суетливое беспокойство о вечном, мечта о покое и счастье, непременно всеобщем, а отсюда — самовлюбленность, безответственность перед культурой, кичливое уничижение учителей и разнузданно-добродушная уверенность в превосходной широте, размахе, полноте, доброте «души» и «сердца» русского человека» (2).

Этому особому бытию России во времени соответствует и ее положение в пространстве. Неспособность жить в настоящем,

(2) Г. Шпет, «Очерк развития русской философии». Пг., 1922, стр. 37.

хроническая беспомощность перед задачами организации и оформления, предстают в пространственном измерении как безграничное движение в сторону экстенсивности и внешней колонизации. Россию невозможно помыслить локально-географически. Трудно провести четкую границу, обозначающую Россию как таковую, Россию саму в себе: Петербург... Москва... Средняя полоса... Урал... может быть Сибирь... дальше все становится зыбким и расплывчатым. Такую мысленную операцию можно произвести над Римской империей, над империями европейскими, но не над империей Российской. Но еще труднее представить себе эту «Россию саму в себе», живущей по законам интенсивной, а не экстенсивной жизни. Картина невообразимая. Но не свидетельствует ли это о том, что слово Россия обозначает не субстанцию империи, раскинувшейся «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», а лишь определенный модус бытия некоторых народов Евразийского материка?..

С географической необъятностью Русского государства связаны и особенности русского империализма и империалистического сознания. В русском империализме, в отличие, например, от английского колониализма XIX века, почти отсутствует экономическая заинтересованность и активность. Неспособность к организации пространства делает завоевания мнимыми и призрачными. В этом легко убедиться на примере «освоения» богатыми природными ценностями Сибири или проданной за ненужностью Аляски. Действительным оказывается лишь принцип власти, принцип центра. И русская душа не только во власти необъятных пространств, но и во власти централистских заданий государства. Именно в этом ключ к тайне империалистического сознания русского человека. Империалистическая идеология есть компенсация неизжитой покорности и рабской зависимости от власти, подсознательное замещение непреодоленной пассивности и формобоязни. Это равно характерно как для дореволюционной, так и для советской России.

В означенных здесь измерениях и раскрывается идея мессианского призвания России: динамической обращенности к будущему соответствует экстенсивная обращенность к пространству. Однако, при равной важности этих двух аспектов в процессе становления русского мессианизма и империализма, основными все же необходимо считать религиозные и историософские, а не государственно-территориальные устремления.

Первые наиболее яркие вспышки русского мессианизма, как было сказано выше, обнаруживаются уже в XV веке. С падением Византии Московское царство осознает себя как единственное в мире царство, сумевшее сохранить чистоту православия. Флорентийская уния (1439 г.) и падение Константинополя (1453 г.) были как бы внешним подтверждением этого убеждения. По словам знатока русской церковной истории А. В. Карташева, «случившуюся унию русские стали рассматривать не как наносное, поверхностное явление греческой церкви, а как действительную порчу всего греческого православия. Вызванные фактом греческой унии к религиозной самооценке русские нашли, что они не только сохранили чистоту православия, утраченную греками, но что русское православие «вообще» выше греческого, что русские более благочестивый православный народ, чем кто-либо. Это самопревозношение русских, так же как и обвинение греков в отступлении, скорее искусственным образом привязалось к флорентийскому собору, на самом же деле вытекало из своеобразно сложившихся воззрений их на значение церковных обрядов: находя себя по справедливости более усердными, чем греки, в делах наружной набожности, русские в этом-то и видели высшую пробу своего православия» (3). Что же касается падения Константинополя, то «русские сразу же взглянули на этот факт как на явное наказание Божие священному городу за его вероотступничество и как на знамение нового высшего призвания их собственной земли» (4).

Убежденность во вселенском характере русского православия и благочестия — основа религиозно-историософской формулы нашего мессианизма — учения о Москве как о третьем Риме. В знаменитом письме старца псковского Елеазарова монастыря Филофея к царю Ивану III эта убежденность достигает предельной идеологической оформленности: «И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твое царство: один ты во всей поднебесной христианский царь. Блюди же, внемли, благочестивый царь, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть, твое христианское царство уже иным не достанется». Письма инока Филофея крайне интересны тем, что судьба Церкви в них тесно связывается с

(3) А. В. Карташев, «Очерки по истории русской Церкви», т. I, П. УМСА-Press, 1959, стр. 368-369.

(4) Там же, стр. 374.

судьбой христианского государства, мистика Церкви сплетается с мистикой царства и царской власти... Таким образом, мессианская доктрина о Москве как о мистическом центре всего мира становится почвой для великодержавного сознания русского народа. И московская власть делает все усилия, чтобы ее внешнее положение соответствовало этому сознанию: Великий князь Иван III добивается титула царя, идет процесс бурного «собирания земель вокруг Москвы», покорение Казани, Астрахани, Сибири, централистские реформы Ивана Грозного и митрополита Макария и, наконец, установление русского патриаршества, как окончательное преодоление зависимости от восточной Церкви. Но роковое несоответствие великих претензий и замыслов с эмпирической скудостью культурной и религиозной жизни привело в XVII веке к расколу — трагической катастрофе, во многом определившей дальнейшие судьбы России.

Мечты царя Алексея Михайловича освободить Царьград от турок и войти в него главой всего православия нашли отклик у патриарха Никона. Одним из первых предприятий на этом поприще стало насильственное исправление книг и обрядов по греческим образцам, вызвавшее бурный протест народной религиозности. Реформы окончились церковным расколом: народные массы отказались принять за образец «греческую веру». Но было бы «ошибочно думать, что религиозный раскол был вызван исключительно обрядоверием русского народа, что в нем борьба шла по поводу двуперстного и трехперстного знамения креста и мелочей богослужебного обряда. В расколе была и более глубокая историософская тема. Вопрос шел о том, есть ли русское царство истинно православное царство, т. е. исполняет ли русский народ свое мессианское призвание. Конечно, большую роль тут играла тьма, невежество и суеверие, низкий культурный уровень духовенства и т. п. Но не этим только объясняется такое крупное по своим последствиям событие, как раскол. В народе проснулось подозрение что православное царство, третий Рим, повредилось, произошла измена истинной вере. Государственной властью и высшей церковной иерархией завладел антихрист. Народное православие разрывает с церковной иерархией и с государственной властью. Истинное православное царство уходит под землю» (5).

(5) Н. А. Бердяев, «Истоки и смысл русского коммунизма». П., 1957, стр. 10-11. См. также соответствующие главы в трудах о. Г. Флоровского. «Пути русского богословия», П., 1937, и А. В. Карташева. «Очерки по истории русской Церкви». П., 1959. Там же библиография.

Раскол оказался роковым событием для русской истории. Реформы Петра Великого, однако, еще более углубили его. Теперь, говоря словами Г. П. Федотова, Россия перестала быть понятной русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее внешних врагов, которые были явны и конкретны для него в Московском царстве. Реформы Никона, процесс распада структуры средневекового государства и насильническое дело Петра нанесли серьезный удар по мессианской доктрине. Обмирщенное понимание государственной власти оказалось способным усвоить лишь самую грубую сторону идеи Третьего Рима — империализм. Только в конце XVIII века в светской историософии («Записки о древней и новой России» Карамзина, а позже у М. Сперанского) возникает идея священности царской власти. В александровскую эпоху государство вновь переживает религиозный подъем и сознает себя священным и сакральным. Но этот кратковременный «теократический утопизм» определяется влиянием мистических, масонских и интерконфессиональных объединений, а не влиянием церковного сознания, отказавшегося после петровских реформ от теократических соблазнов. Только в XIX веке, вместе с романтизмом и славянофильством мессианские идеи стали вновь проникать в образованные классы...

Русский мессианизм XIX и XX веков — явление двойственное и противоречивое. Активным носителем мессианского сознания в эту эпоху является не государство и не народ, а русская интеллигенция. Однако, лишенная какой-либо «органической почвы», она мучительно переживает свое отщепенство и оторванность от полнокровной жизни. Ей чужд государственный национализм в форме правовых и территориальных притязаний русской империи. Да и чаемое будущее России, на алтарь которому она приносит свою жизнь и свободу, мыслится не в государственных и правовых категориях, а в категориях нравственных и религиозных. Будущее России — это явление Правды, победа над человеческими страданиями, преодоление дисгармонии бытия, осуществление идеала целостной жизни. Однако, эти идеалы интеллигенция связывала не с культурой, не с жизнью духа, а с внеположным ей народом, в котором она видела носителя русской правды и нравственности: таинственные недра народной жизни противопоставлялись культуре и образованности. Именно здесь пролегалась основная черта, разделяющая народ и интеллигенцию. Не социальное положение, а отношение к традициям веры и быта — вот основной нерв психологии «кающегося дворянина», а затем и «кающегося интелли-

гента». «Верхи очень рано заразились и отравились неверием или вольнодумством. Веру сохраняли на низах, чаще в суеверно-бытовом обрамлении. Православие осталось верою только «простого народа», купцов, мещан и крестьян. И многим стало казаться, что вновь войти в Церковь можно только через опрощение, через слияние с народом, через национально-историческую оседлость, через возвращение к земле. Возвращение в Церковь слишком часто смешивалось с хождением в народ. Этот опасный предрасудок одинаково распространяли и несмысленные ревнители, и кающиеся интеллигенты, простецы и снобы. Уже славянофилы были в этом повинны, ибо в славянофильском истолковании самая народная жизнь есть некая естественная соборность, и община или «мир» есть точно зародышевая Церковь. Поэтому именно через народ только и возможно вернуться в Церковь» (6). Психология религиозного преклонения перед народом характерна не только для славянофилов и интеллигенции, возвращающейся к Церкви, но и для интеллигенции, исповедывавшей позитивизм и религию атеизма. И главное здесь не различия, а общая вера в мессианское назначение русского народа, вера, о которой впервые заговорили славянофилы.

Славянофильство — одно из важнейших течений в становлении русского общественного и философского сознания. «Славянофильство, — говоря словами Н. Бердяева, — первая попытка нашего самосознания, первая самостоятельная у нас идеология. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем ее сущность, ее призвание и место в мире» (7). Действительно, темой России определяется как религиозно-историософская, так и общественно-политическая проблематика славянофильского учения. Славянофилы принимали официальную концепцию русской государственности, основанную на принципах православия, самодержавия и народности, хотя и придавали ей иное истолкование. Ударение ставилось прежде всего на православии и народности, а не на самодержавии, которое, по мысли славянофилов, было не столько благом, сколько «необходимым злом». Именно православие, которое равно удалено как от «доведенного до абсурда авторитета римского первосвященника, уничтожающего

(6) Г. В. Флоровский, цит. соч., стр. 503-504.

(7) Н. А. Бердяев, «А. С. Хомяков», стр. 2.

всякую нравственную свободу христианина, так и от протестантской атомизации Церкви, уничтожающей всякий авторитет», является наиболее дорогим идеалом русского народа. Славянофилы верили, что русский человек есть прежде христианин и сын православной церкви, нежели гражданин и сын русского государства. Эта точка зрения обосновывалась учением о народности, как о живом общественном организме, воплотившем в себе христианское начало. Общественный организм понимался по типу семьи или патриархальной сельской общины, причем последняя служила как бы прообразом христианской общественности — Церкви. Из той же родовой и натуралистической стихии крестьянской жизни выводилось и учение о соборности.

Народничество, окрашенное в религиозные тона — вот подлинная основа славянофильского учения об обществе, как о патриархальном и органическом единстве православной веры, царя и христианского народа. На вере в религиозный характер русского народа было основано и убеждение, что русский народ не примет безбожной власти и нехристианской государственности. При всем различии отдельных славянофилов в оттенках мысли, в одном они сходятся между собой: христианство есть изначальное свойство русского народа. Это «природное» свойство становится основной почвой для новой вспышки мессианизма: история нашего народа, по мысли славянофилов, есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но и по своей жизни. «Русская история, — писал Константин Аксаков, — имеет значение Всемирной Истории. Она может читаться, как жития святых... Со стороны христианского смирения, надо смотреть на Русский народ и его историю. В таком народе не прославляется человек с его делами, прославляется один Бог». Здесь славянофильский мессианизм лишается религиозной глубины, ибо религиозные начала смешиваются с началами природными, натурализуются, связываются с бытовыми и относительными формами, так что в конце концов мессианизм обнаруживает себя как разнузданный национализм и империализм, а богоизбранность предстает в форме внешнего грубо-материалистического могущества. В награду за чистоту веры и смирение избирает Бог Россию, поставив ее народ превыше всех «кичливых своею суетною мудростью народов Запада». Тот же Константин Аксаков так писал о «наградах» России: «И Господь возвеличил смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми соседями и пришельцами к отчаянной борьбе, она повалила их всех одного за другим. Ей дался простор на земле. В трех

частях света ее владения, седьмая часть земного шара принадлежит ей одной. В ее пределах невыносимое знойное лето и невыносимая вечная зима; в ее пределах солнце восходит на одном конце и заходит на другом в одно и то же время. И вот гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и непонимавшая ее духовной силы, увидела страшное могущество силы материальной, и для нее понятной, — и снедаемая ненавистью, в каком-то тайном ужасе, смотрит она на это страшное, полное жизни тело, души которого понять не может» (8).

У поздних славянофилов мессианизм натурализуется окончательно. Даже у такого самобытного мыслителя как Н. Я. Данилевский, автора книги «Россия и Европа», религиозный мессианизм принимает облик грубого национализма. Славянофильское учение о богоизбранности русского народа оказывается у него в зависимости от этнографии и лингвистики (9), приобретает черты позитивизма и плоского морализирования. Почти то же самое можно сказать о построениях М. Каткова и А. Киреева. Лишь у Достоевского славянофильские концепции приобретают новую религиозную глубину.

От веры в русский народ, как высший тип христианской культуры, Достоевский делает шаг к идее о его исключительной способности раскрыть вселенскую правду и спасти мир. Достоевский близок к подлинному универсализму, но в его утверждении, что русский народ «должен верить, что в нем-то и только в нем одном заключается спасение мира, что он живет на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной», уже таится опасность грубого и внешнего его истолкования. Достоевский сам положил этому начало: его статьи в «Дневнике писателя» — пример узко-националистического и шовинистического понимания русской идеи. С этим же связана и одна из центральных тем Достоевского — тема «народа-богоносца», которому «единому даны ключи жизни и нового слова». Достоевский, так же как и ранние славянофилы, своеобразный религиозный народник, оказавшийся в плену интеллигентской традиции народопоклонства и народобожества.

(8) Цит. по книге С. А. Венгерова, «Передовой боец славянофильства». Константин Аксаков. СПб., 1912, стр. 187.

(9) Это можно встретить и у А. Хомякова, хотя его попытки вывести англичан из угличан и признать их славянами и т. п. не являются, тем не менее, основными в его построениях.

Думается, что сегодня нет нужды опровергать основные положения славянофильских концепций — религиозная и научно-историческая несостоятельность их более чем очевидна. Вера в «русского Христа» как и вера в богоизбранность русского народа есть возвращение к ветхозаветному сознанию и не имеет оправдания перед универсализмом сознания новозаветного. В утверждении религиозно-национальной исключительности России слышится голос не христианства, а неизжитого ветхозаветного натурализма, голос матери сыновей Зеведеевых, осужденный Спасителем. Христианство обращено ко всем народам, и Евангельскому духу совершенно чужды как мессианские притязания отдельных народов, так и идеи национального усвоения истины. Где есть истинный Мессия, там нет места спорам о первенстве. Перед Христом «нет различия между иудеем и эллином», потому, что «один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10,12), ибо «как иудеи, так и эллины, все под грехом» (Рим. 3,10), спасется же «всякий, кто призовет имя Господне», кто примет Евангелие и последует за Христом. «Самое существование национального мессианизма возможно лишь благодаря забвению Пятидесятницы. Она не имела бы места, если бы апостолы через сошествие Св. Духа не отрешились от **особой** близости к национальному еврейскому мессианству. Апостолам подлинного мессианства на земле были одинаково близки все народы; и оттого-то их высшее религиозное вдохновение заговорило всеми языками в мире. Два великих чуда совершилось в Пятидесятнице: во-первых, она собрала все народы земли во едином исповедании; во-вторых, она утвердила положительное призвание каждого народа через упразднение естественных границ между национальностями. Основное отличие между национальностями — язык — тут не только не упразднился, но получил высшее утверждение и освящение. Каждый народ нашел в этом откровении всенародного Мессии свой собственный **огненный** язык. Но в Пятидесятницу эти основные языки перестали быть границами для всенародного общения. Для продолжателей и преемников Мессии все языки земли стали одинаково прозрачны и понятны... Те же, кто утверждает, что языки должны не соединять людей во Христе, а разделять Христа на множество отдельных явлений по национальностям, явно заменяют Пятидесятницу вавилонским столпотворением...» (10).

(10) Е. Н. Трубецкой, «Старый и новый национальный мессианизм». «Русская мысль», М., 1912, № 3, стр. 97.

В своем религиозном обосновании национального мессианизма славянофилы опирались на старую традицию исключительности русского православия, не замечая того, что православие национализировалось в России, что вселенское сознание подменилось сознанием национальным. Это отождествление русской поместной церкви с Церковью вселенской, несмотря на всю его неправомерность и ошибочность, не могло не льстить русскому религиозному самосознанию, хотя и уводило его в тупики провинциализма и партикуляризма. Отсюда — враждебное отношение к Риму и католичеству, отношение, в котором богословская беспомощность обличений компенсировалась мистическим переживанием национального избранничества. **Свой «русский Христос», своя Церковь** заслонили подлинно вселенское значение христианства. Осознание себя как хранителя веры, ее чистоты и «православности», давно лишенное оснований, но тем не менее питающее национальную гордыню, узурпация высшего церковного авторитета привели к самоослепению церкви, отрыву ее от вселенского христианства и, в конце концов, к полному бессилию противостоять тем волнам безбожия, которые затопили Россию и связали самую Церковь.

Еще в большей степени очевидна несостоятельность общественно-государственных построений славянофильства. Вера в патриархальную общину как и вера в теократию — одна из трагических утопий русского сознания XIX—XX вв. Тяготение к сакрализации государственной власти, желание распространить абсолютные категории на природно-исторические образования свидетельствует о пребывании сознания на стадии религиозного натурализма и внешнего истолкования христианства. Смешение двух царств — царства Духа и царства кесаря, — есть соблазнительная утопия, страшная в своих последствиях не меньше, чем идея коммунистического «рая на земле». Западноевропейская средневековая теократия, а еще более теократия византийская, стремившаяся дать непреходящее религиозное значение текущим государственным и экономическим явлениям, служит, в данном случае, примером **искажения**, а не осуществления подлинного христианства. Христос разделил «Божие» и «кесарево», подчеркнув иноприродность и относительность царства кесаря Царству свободы и благодати — Церкви. Смешение же их есть соблазнительная ошибка, свидетельствующая не только о трудности понимания религиозного смысла истории. Вера в возможность окончательного воплощения абсолютных форм в рамках истории есть один из глубочайших соблазнов историософского и общественного утопизма.

Вера в имманентность абсолютных начал природному миру, будь-то вера в осуществимость Царства Божия на земле или в конечную достижимость идеала, неминуемо стирает грань между природой и историей, превращая последнюю в некое «продолжение» природы. Здесь утопизм роковым образом упирается в антиперсонализм: человеку нет места в этом мире, ибо в этом мире нет и не может быть свободы, так как субъектом развития в природе является род, нация, общество, но не личность. Человек таким образом становится «камнем преткновения» в проектах идеального общественно-государственного устройства. В России это ярко проявилось в революционном народничестве и большевизме, пришедших на смену религиозному народничеству славянофилов.

3.

Национализм и народничество — два центральных понятия в идейной жизни русской общественности и в то же время — два различных состояния сознания. Наверное ни в одном языке нет столь близких и столь различных слов, как нация и народ. Слово «народ» в терминологии русского мышления второй половины XIX века отражает не национальное начало, а классовое и социальное. Народ — это по преимуществу социальные низы: крестьяне, рабочие, обездоленные; им противоположен дворянин, интеллигент, писатель, художник, которые не есть народ. Это ощущение культурным слоем своей оторванности от народных низов и легло в основу народнической идеологии. Выше уже говорилось, что при всем нравственном и социальном максимализме русской интеллигенции подлинной чертой, разделявшей эти два мира, была, однако, не столько разница социального положения, сколько отношение к традициям веры и быта, о которых впервые заговорили славянофилы. Но народниками были не только славянофилы, но и западники и материалисты и революционеры, ибо народничество — это определенное умонастроение, а не только социально-политическое течение. Вера народничества, повторяем, есть вера в то, что в глубинных пластах народной жизни скрыта та последняя правда, явлением которой будет спасена не только русская интеллигенция и Россия, но и весь мир. Славянофилы видели ее в древнерусской народной жизни или патриархальной общине; Герцен и западники веру в ту же общину связывали с утверждением, что русский народ — «социалист по инстинкту»; народники искали ее в крестьянстве и земледельческом труде;

марксисты — в «угнетенном пролетариате». Все эти концепции явились результатом общей зачарованности интеллигентского сознания стихией народной жизни. Интеллигенция не верила в себя и испытывала чувство вины перед народом. Право, культура, государство казались ей чем-то сомнительным и нравственно недолжным. Потрясенная фактом общественного неравенства, она проглядела вечную ценность культуры и свободного творчества и противопоставила нравственное стремление к равенству стремлению к истине и красоте. П. Л. Лавров сформулировал это чувство в «идею неоплатного долга интеллигенции перед народом» (11). Почти теми же чувствами пронизаны и искания Л. Н. Толстого.

Народничество мало интересовалось государственными притязаниями и раскрывало себя не в государственном, а в социальном максимализме. Это была хроническая борьба с государственной властью, приведшая в конце концов к болезни антинационализма, ибо объектом ненависти стало не только русское государство, но и русская нация. Российская империя в глазах революционной интеллигенции превращалась лишь в «агломерат накраденных провинций», или, как гласила другая формула, в «совокупность тех стран, которые русское правительство захватило в свои руки и в которых оно теперь хозяйничает». Однако, как это ни парадоксально, но антинациональная и пораженческая позиция революционной интеллигенции вполне уживалась с традиционным русским мессианизмом: интеллигенция жила мечтами об особой судьбе России и русского народа, хотя дальше хрустальных дворцов из «Сна Веры Павловны» так и не пошла.

Русский марксизм, пришедший на смену народничеству в 80-90-ые годы прошлого века и разложивший понятие «народа» на классы, следует рассматривать так же, как одну из форм народническо-мессианского сознания. Несмотря на то, что в марксизме мессианская роль переходит от народа к отдельному классу —

(11) В своих «Исторических письмах» он писал: «Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могли говорить о прогрессе. Если бы... вычислить сколько потерянных жизней... приходится на каждую личность, ныне живущую человеческой жизнью, наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капитал крови и труда израсходован на их развитие... Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем». Н. К. Михайловский это чувство выразил с еще большей силой, сформулировав крайности своего поколения: «Пусть нас секут. Мужика секут же!».

пролетариату, несмотря на то, что пролетариат, а не крестьянство есть «избранный народ Божий», призванный спасти и преобразить мир, главная предпосылка народнического сознания — вера в природно-социальный источник истины по-прежнему остается. Уже Маркс, при всем своем атеизме, оказывается целиком на почве традиционного ветхозаветного мессианизма: он не только верит в смысл истории и в возможность окончательного явления его в мире, но и убежден, что явление это должно быть апофеозом посясторонности — Царством Божиим на земле. Эта вера — яркий пример того, как настойчиво вытесняемая религиозная идея, сначала уйдя в подсознание, затем прорастает в сознании дневном, хотя и принимает при этом форму уродливой пародии. В связи с этим справедливо рассматривать марксизм не столько как научную теорию, сколько как **теологию**, как одну из форм извращенного религиозного сознания. Экономическая теория Маркса была окончательно опровергнута еще в конце XIX — начале XX вв., не говоря уже о современной критике марксизма, но это почти не отразилось на коммунистическом движении. Этот факт объясняется тем, что марксизм есть религиозная, а не научная теория и потому непреодолим на почве науки. Ошибочно считать марксизм лишь теорией организации экономической жизни человечества; марксизм — целостное вероучение, охватывающее все сферы бытия от политики и философии до искусства и морали. Здесь марксизм пародирует христианство. Но христианство не есть только вероучение и тем более не есть тоталитарная идеология. Центр христианства — живая личность Спасителя Богочеловека Иисуса Христа, постоянно являющая Себя в тайне Божественной Любви и Евхаристической Жертвы. Христианство — это высшая правда о человеке, об особом, божественном его призвании и предназначении. Марксизм же, паразитируя на христианском откровении о человеке и подменяя его учением о природной самодостаточности человеческого бытия, неминуемо приходит к отрицанию человека. Вопреки модной ныне проблематике «отчуждения», марксизм, тем не менее, не есть персонализм и никогда им не станет. Если нет Бога и человек не укоренен в мире духовном, то его оправдание становится возможным только на путях гипертрофии социальности. Но это — мнимое оправдание, ибо не человеческая личность, а социальное общество оказывается первичной и основной реальностью, в которой человек занимает место лишь низшего его элемента. Именно поэтому для Маркса личность есть только продукт природы и социальной среды, обусловленной законами экономической

жизни. Отсюда лишь классовая борьба и перемены в экономике могут привести к изменению сознания и культуры. Но в этих изменениях не совершается освобождения: профанация высших ценностей, т. е. сведение их к ценностям низшим еще более закабляет человека, легко делает его средством по отношению к «высшим» целям вроде социализма, коммунизма или будущего счастья пролетариата. Но эти цели, ради достижения которых позволены любые средства, кажутся высокими лишь постольку, поскольку низко мыслится сам человек. Точно так же к выражению интересов определенных классов и их идеологов сведены культура, религия и творчество.

Учение Маркса оказалось губительным для русской интеллигенции. Немногие увидели опасность подмены человека мифическим пролетариатом, как и немногие поняли, что для достижения добра нельзя культивировать инстинкты зла и ненависти: зло не рождает Добро, а бесчеловечность не может вывести на пути нормальной социально-экономической жизни. Пример русской революции 1917 г. свидетельствует об этом со всей очевидностью. Маркс отрицал нравственные начала, не любил этического социализма и считал реакционным его моральное обоснование. Что же касается гневных обличений буржуазии и морализирования по поводу эксплуатации пролетариата, то все это имело тактический, а не принципиальный характер: обличения звучат нелепостью, если в мирозерцании «пророка» нет места для идеи свободы и абсолютных ценностей.

От марксизма классического следует отличать одно из особых его проявлений — русский большевизм, сыгравший роковую роль в истории России.

Русский большевизм или русский коммунизм более самобытное явление, нежели русский марксизм. Рожденный в атмосфере перманентной борьбы русской интеллигенции с самодержавием и русской государственностью, большевизм есть предельная революционизация русского мессианизма. Он, хотя и опирается во многом на марксизм, все же есть нечто иное, нежели только социально-экономическая теория или политическая партия. Большевизм — это особый образ мысли и жизни, своеобразная псевдо-религия и псевдо-культура, сознательно и жестоко утверждающая себя помимо и против христианской культуры и религиозного смысла жизни. До 1917 г. он был одной из сектантских групп в социал-демократическом движении, восходящей в своей идеологии через революционное народничество к нигилизму шестидесятых годов.

На идеологию большевизма не малое влияние оказали также и Бакунин, и Ткачев, и Нечаев, и Желябов, хотя все эти влияния почти ничего не объясняют вне главного основателя партии — Ленина. Ленин был центром притяжения людей нового типа и в каждом истом подпольщике и большевике можно разглядеть его черты: культурную и умственную узость, целенаправленность, тактическую гибкость, имморализм и экзальтированную жажду власти. Большевизм, в отличие от марксизма, есть утверждение примата политики и тактики над экономикой и социальным детерминизмом. Ленин был очень слабым теоретиком марксизма и еще более слабым философом: его пленила мессианская историософия Маркса, в которой пролетариату выпадает активная роль в переустройстве мира. Но из этой идеи он сделал свои выводы. В противоположность русским марксистам он не верил в самостоятельность пролетариата и слепо ненавидел Россию. По его мнению, только хорошо организованная партия, разжигая и используя для своих нужд классовую ненависть пролетариата и крестьянства, может захватить власть. Что же касается самого пролетариата, то он, по мысли Ленина, неспособен подняться выше тредьюнионистского сознания и потому постоянно нуждается в партийной узде. Теория марксизма превращалась, таким образом, в теорию революции и сводилась к поискам возможных способов захвата власти. И здесь Ленин не останавливался ни перед какими средствами. Его цинизм и аморализм многих отталкивал, но это была одна из форм революционной аскезы, состоявшая в умерщвлении в себе «человеческого слишком человеческого» во имя будущей революции и любви к абстрактному человечеству.

Деспотический централизм большевистской организации и аморализм революционных стихий, питавшихся злобой, как по отношению к царскому строю, так и ко всем партиям и группам не исповедывавшим мораль и идеологию большевизма, оказался роковым для России, ибо в большевизме русский мессианизм принял предельно агрессивные формы. И хотя революционная борьба и революция проходили под знаменем интернационализма, тем не менее, главным ее содержанием была «русская идея» — идея «нового слова», которое должна была сказать Россия всему миру и которое она к его и своему несчастью сказала...

Если теперь попытаться коротко выразить существо всех тех идей и настроений, которыми жила революционная интеллигенция, то самым точным словом будет **утопизм**. Утопической установке сознания подчинены все теории и упования русской интел-

лигенции. Но эта вера в имманентность абсолютных начал нашему миру и в возможность окончательной победы над трагизмом человеческого бытия, вера, равно присутствующая в наукообразных теориях прогресса и проектах социальных революций, неотделима от национально-мессианских чаяний, которые жили почти в каждом русском человеке. И несмотря на все различия религиозных, политических и социальных концепций славянофилов, народников или большевиков, корень у всех у них общий — вселенская будущность России, которая станет кульминацией Всемирной истории, ее завершением и исполнением.

4.

Октябрьский переворот, при всем его антинародном и заговорщицком характере, тем не менее связан с самыми глубокими пластами народной души, ибо революция оказалась невиданным еще в истории **свободным** отречением народа от всех тех ценностей и идеалов, которым он исстари поклонялся (12). Более того, это было и отречением от бремени свободы в пользу рабства, принятием искушений, отвергнутых Христом в пустыне. Это тема Достоевского, тема «Великого инквизитора», которая воплотилась вопреки Достоевскому в России, а не на Западе. Русский народ не выдержал испытаний на путях свободы. Осуществление социалистической религии «всеобщего благополучия и сытости» возможно лишь через порабощение человека, через деспотизм и истребление свободы. Русский народ знал об этом, когда начал бунт против Бога, окончившийся братоубийственной войной и полувекowym рабством. Здесь центральный момент в метафизике русской

(12) Неверно считать, что «революцию сделали масоны, евреи и инородцы». Это крайне упрощенная точка зрения. Массонство имело влияние на Февральскую революцию, но не на Октябрь. Евреи же, активно участвовавшие в революционном движении, были вызваны к революции не мифическим «сионистским заговором», а злым шовинизмом русского государства. Что же касается так наз. «инородцев», то следует заметить, что большевизм почти без труда утвердился в Петербурге и Москве, но встретил отчаянное сопротивление окраин. Великороссия почти не знала гражданской войны, которая происходила за ее границами. Это очень важный момент, так как границы советской России сразу же после прихода большевиков к власти почти совпадают с границами Московского царства. То же самое можно наблюдать и в отношении к 1942-1943 гг. Как бы ни объяснять этот факт, несомненно одно: Великороссия питала большевизм больше, нежели какая-либо другая почва.

революции и гражданской войны, ибо этим отречением было обусловлено как прельщение большевизмом, так и восстание русского народа против быта, культуры, Церкви, себя самого. Отречение от Бога и христианства было также отречением от России и идеала Святой Руси. И это было предательство не только России старой, эмпирической, «кондовой и избяной», но и предательство России вечной, измена последней ее святыне. Ключ к пониманию революции и ее последствий в том, что она была не столько социально-политическим явлением, сколько феноменом духовного и религиозного порядка.

Революция убила старую Россию. Прежняя Россия напоминает сегодня вымершую цивилизацию, подобную древнему Египту или древней Элладе. Недавность ее призрачная, кажущаяся (13). Пятьдесят лет оказались равны нескольким столетиям, целой эпохе. Забыть об этом и реставрировать прежнюю Россию все равно что воскресить на основе археологии Византию и вдохнуть в нее дух жизни. В революции произошел не только распад старой государственности, но и окончился распад всех тех «органических» начал, о которых говорили славянофилы и народники. С этим связано и перерождение традиционного национал-мессианизма в мессианизм советский. Для традиционного мессианизма уже не осталось никакой реальной почвы в советской России. Это прежде всего касается понятия народа.

Революция раскрыла архаический характер славянофильских и народнических категорий. «Народ» оказался мнимой величиной, пригодной сегодня лишь для мифотворческой стряпни официальной пропаганды. Мужик, лишенный земли и веры, потерял свою притягательную таинственность. Сегодня он большой нигилист и атеист, нежели интеллигент или человек культуры. Пресловутый «народ-богоносец», показавший в революции свое звериное лицо, тем самым окончательно доказал «кающемуся интеллигенту», что путь

(13) У В. В. Розанова, одного из самых чутких русских писателей XX века, в «Апокалипсисе нашего времени», написанном в дни революции, есть такие строки: «Был а я Русь»... Как это выговорить? А уже выговаривается"... Русь слипалась в два дня. Самое большее — три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась, вся до подробностей, до частей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «Великого переселения народов». Там была эпоха, «два или три века». Здесь — три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Страшным образом — буквально ничего»...

к высшим ценностям, путь к Богу и Церкви лежит в стороне от идеи опрощения и слияния с народом. Народ не есть величина абсолютная и неразложимая. Социальный и идеологический процессы, произошедшие в России — рост городов, промышленности, давление тоталитарного режима и абсолютная монополия власти на средства массовой пропаганды — требуют окончательного пересмотра всякого рода народнических предрассудков, еще живущих в интеллигентском сознании. К этому необходимо добавить также, что старое противоречие между «беспочвенной» интеллигенцией и народом предстает сегодня, как противоречие между творческой элитой и оболваненными и развращенными массами, агрессивными по отношению к свободе и высшим культурным ценностям.

Понятие русского народа в системе традиционного национал-мессианизма неразрывно связано с понятием «русского человека». Однако, в нем, как и во всем остальном, налицо выветривание национального своеобразия. Пытаясь определить национальный тип русского человека последних десятилетий, мы решительно теряемся перед невозможностью уловить в нем черты, известные нам хотя бы по русской классической литературе. Это совсем новый, почти биологически новый тип, рожденный революцией и коммунистическим режимом — homo sovieticus. За полвека, прошедших со времени Октябрьского переворота, он окончательно выкристаллизовался и приобрел ту особую устойчивость, которая позволяет говорить о нем, как об особом типе. Об этом очень тонко писал в свое время Г. П. Федотов, пораженный необычайной резкостью происшедшей перемены (14). Действительно, перебирая все те характерные черты, которые принято было выделять в русском человеке, мы невольно теряемся перед их метаморфозой. К чему бы мы ни прикасались — будь то «доброта и кенотическая жалость», «тонкая духовная организация» или «чуткость народной души к фальши» — всюду мы наталкиваемся на черты, если не прямо противоположные прежним, то, по крайней мере, сильно искаженные. И это не случайно. Рождение homo sovieticus'a есть явление не социального, а метафизического, духовного порядка. Внешне, особенно в отношении к своим ближним, советский человек может быть вполне и добрым и нравственным, но он не перестает от этого быть советским человеком, ибо тайна его рождения

(14) См. его статью «Русский человек» в сб. «Новый Град», Н.-И. 1952.

есть тайна свободы, тайна отказа от ее бремени и личной ответственности. Отречение от свободы не проходит для человека безнаказанно, превращая его в раба необходимости; вся разница лишь в том, в каком облики эта необходимость ему предстает и как усыпляет его совесть. Вот почему, будучи даже убежденным оппозиционером, он почти всегда остается все тем же **советским** человеком. Это не противоречит тому, что обязательное изучение марксизма в школе, институте, на работе, лекции по радио и телевидению вызывают у многих чувство близкое к тошноте. Здесь не нужно поддаваться иллюзии: человек, воспитанный советским режимом и вскормленный диалектическим материализмом, при всей своей ненависти к нему, в большинстве своем все же не способен окончательно преодолеть навязанную ему мифологию. Он заражен, отравлен ею. Она остается в его сознании, голове и сердце в форме целого набора пошловатых «истин» — пошловатых, но все-таки истин. И когда у него недостает собственного мнения, он с необычайной легкостью использует имеющийся у него запас идейных и моральных аксиом. Это наблюдается почти на всех уровнях культуры и образованности, ибо советский человек тысячами тончайших и невидимых нитей связан с господствующей идеологией и порожденным ею бытом.

Разложение понятия народа и необычайная метаморфоза психического и духовного мира его этнических элементов подводит в свою очередь и к критическому анализу реального содержания таких понятий, как культура, язык, вера и нация. Но сколько бы мы ни вглядывались в реальности, стоящие за этими понятиями, всюду перед нами одно и то же явление — необратимый процесс распада тех «органических начал», которые столь недавно еще казались вечными и незыблемыми. Этот процесс необъясним словами о секуляризации духовных ценностей, или констатацией насилия партийно-государственного аппарата над культурой. Государство действительно уничтожило культуру, подменив ее идеологией, но, как уже отмечалось выше, акт насилия совершился не без согласия народной души. Уже в первые годы революции стало очевидно, что собственная национальная культура совершенно чужда русскому народу, что даже храмы и иконы, созданные гениальными предками и занимавшие, казалось бы, главное место в духовной жизни русского человека, оказались пригодными лишь на кирпичи и дрова. Перманентное разрушение культурных памятников, утилитарное и нигилистическое отношение к культуре в целом, свидетельствует о том, что подлинная культура потеряла

для теперешнего жителя России свою проницаемость и жизненность, что она онемела, умолкла, превратилась в нечто застывшее и чуждое. Последние экспедиции на русский север доказывают это с еще большей силой. Легкость, с которой отдаются крестьянами старинные костюмы или наследственные предметы быта, а также сараи и загоны для свиней, сооруженные ими из икон, перед которыми многие из них еще недавно молились, свидетельствует о том, что эти процессы не сводимы к одному лишь антирелигиозному террору, который, кстати сказать, не имел в этих областях столь буйных проявлений, как в центральных районах России. Дело здесь не в терроре: семья, добровольно отдающая икону столичным проходимцам, **сама** уже смотрит на себя и на свою культуру как на некий музейный экспонат, т. е. как на нечто отжившее, ненужное, чужеродное жизни. О каких же «вечно живших органических началах» русской культуры можно говорить сегодня, когда умер главный источник всякой культуры — религиозная вера? Культура — всегда производное от культа, ибо культ и есть то зерно, из которого развивается древо культуры: язык, быт, искусство, философская мысль, общественные и экономические отношения. И таковой была не только русская культура, но и культура египетская, античная, средневековая. Культура — всегда язык религии, но язык особый, символизирующий глубину духовного постижения и осмысления бытия. Рожденный религиозным опытом и духовной традицией он обязательно национален, а потому и своеобразен, что, конечно, не отменяет его универсальности и всечеловечности, к которым призвана всякая истинная культура.

Однако, как бы мы ни определяли культуру, принципиально важным остается одно: понимание культуры неотделимо от понимания глубины задачи, которой культура определяется и которой она свободно служит. Это означает, что непроницаемость и чужеродность русской культуры есть результат внутреннего, **духовного** несоответствия культуры и современного человека, а не мнимой архаичности и условности ее форм. Именно из-за ничтожности и скудости духовного мира подсоветского человека культура оказывается для него не живым символом, а знаком, немым иероглифом, перед которым он если и склоняет иногда голову, то лишь потому, что это «достояние великого прошлого»...

Истребление интеллигенции и культуры не прошло безнаказанно. Рационализация массового сознания через приобщение его к цивилизации не спасла страну от всеобщего одичания. Под тон-

кой коркой рационально-технического разума обнаруживается тот инфантильно-упрощенный мир, зеркальным отражением которого является советское искусство и философия. Ведь только из нигилизма и пафоса профанации, которым коммунистическая идеология растлила человеческие души, мог возникнуть такой феномен как «советская культура» или «советский быт». Значение этих уродливых форм многими недооценивается: кажется, что это нечто внешнее, искусственное, а потому легко преодолимое. Но в действительности все происходит наоборот, ибо рабство и лакейская психология начало не только внешнее, но и внутреннее. Снижение высшего и возвышенного к низшим ценностям и мотивам характерно не только для партийных пропагандистов и полуинтеллигенции, но и для интеллигенции, ориентированной на культуру. При всем своем критицизме и эрудиции даже лучшая часть сегодняшней интеллигенции в глубине души до сих пор еще убеждена, что экономический базис есть основа культуры и духовных ценностей, что свобода — это осознанная необходимость, что религия — компенсация социального угнетения, а человек произошел от обезьяны. В это трудно поверить, потому, что в этом трудно признаться, но это обнаруживается всякий раз, когда раскрываются какие-либо возможности для свободного положительного творчества.

Тот же закон профанации обнаруживается и в процессе перерождения языка. В начале тридцатых годов Л. Каменев отмечал: «Мы говорим и пишем не так, как говорила и писала пишущая Россия тридцать-сорок лет назад. Наши писатели создают новый литературный язык, и скоро язык «Анны Карениной» будет звучать для нас, как сейчас звучит язык «Капитанской дочки» (15). Тогда для многих еще процесс ломки языка связывался с исканиями футуристов, с языковыми теориями А. Белого или В. Хлебникова. Но процесс пошел по иному пути. Языка почти не коснулись резкие внешние изменения — он изменился внутренне, в семантическом своем строе, и изменился так, что кажется действительно несопоставимым с языком «Капитанской дочки» или «Анны Карениной». Язык, так же как и человек и культура, не выдержал натиска тоталитарной идеологии, не устоял перед мощным процессом профанации и опошления жизни. Г. П. Федотов был глубоко прав, когда за хамским стилем прессы, за грубостью и разну-

(15) Предисловие к книге А. Белого «Мастерство Гоголя». М.-Л., 1934, с. V.

данностью речи сумел разглядеть не просто одичание народа, но появление особого типа культуры как знака возможного коренного перерождения нации (17).

Подводя итог этим общим характеристикам, следует сказать, что распад и метаморфоза таких «органических начал» как национальный характер, культура, язык и т. п., еще недавно составлявших единство и своеобразие национальной жизни и являвшихся основой для ее определения, свидетельствует о том, что национальная жизнь не исчерпывается природными и натуралистическими категориями. Нация не только совокупность территориальных и этнографических обнаружений, но и борьба пронизывающих и формирующих ее потоков творческой воли, духовной традиции. Национальную жизнь нельзя трактовать монистически, ибо она вся соткана из противоречий и антиномий. В самом деле, что более характеризует Россию — Иван Грозный или митрополит Филипп? царь Алексей Михайлович или Петр Первый? Достоевский или Писарев? Вл. Соловьев или Ленин? Ответить однозначно на этот вопрос невозможно, потому что жизнь каждого народа есть разворачивающаяся в истории драматическая борьба между воплощением замысла Божьего о нем и отпадения, отказа от своего

(16) «У нас видят в языке и государстве чуть ли не исчерпывающую характеристику нации. Ну, так есть или был народ, который сохранил и язык и государство, перестав быть самим собой. Я говорю о греках. Кто серьезно признает в современных греках соотечественников Перикла и Сократа? А между тем литературный язык их чрезвычайно близок к классическому. В Византии писали почти чистым греческим языком, конечно с легкими переменами в словаре, но не большими, чем это обычно в многовековой истории единого народа. Римская империя, в составе которой жили классические греки со второго века до Р. Х., не была разрушена. Государство, которое мы называем условно Византией, само себя называло Римской Империей. А между тем духовный тип византийского грека настолько далек от классического, что их можно просто считать антиподами. Как же, в какой момент времени совершилось перерождение классического типа? Для этого не надо было тысячелетия, процесс совершился гораздо более быстро, хотя и незаметно для современников. В третьем веке по Р. Х. греческая литература (Плотин) еще бесспорно принадлежит классической древности. В пятом веке столь же бесспорно — Византии. Перерождение произошло за одно столетие. IV век был временем принятия христианства и острой ориентализации Империи. Этих двух чисто духовных факторов было достаточно, чтобы породить новый народ из элементов старого, при полном сохранении государства и языковой традиции. Явление поразительное и угрожающее для современной России». Г. П. Федотов, «Новый Град», Н.-И., 1952, стр. 68-69.

высшего призвания и назначения. В этом смысле к истории каждого народа применимы слова Достоевского: «здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Пример России свидетельствует об этом с предельной яркостью. Ведь еще задолго до 1917 года в России уже существовали те две установки сознания и воли, те две исторические традиции, которые столкнулись в революционной буре и гражданской войне. И в столкновении этом большевизм обнаружил себя не как внешняя сила, но как предельная концентрация того традиционного русского безбожия и нигилизма, что всегда существовал в русской душе. Лишь потом, благодаря «массовидному террору» (выражение Ленина), мощному идеологическому давлению и культивированию нездоровых инстинктов масс были созданы те новые формы общественного бытия, которые и породили свою собственную культуру, религию и этику.

Ошибочно рассматривать уродливые формы новой общественной жизни лишь как насильственные механические объединения, в противовес органической целостности и устойчивости «естественно» развивающихся общественных образований. Идее солидарности, как началу «сплочения в свободном служении высшим духовным ценностям», может быть противоположна не только борьба враждующих элементов и групп, но и солидарность в грехе, круговая порука общего преступления.

«Узаконенный» историей аморализм революции и коммунистической диктатуры узаконил и аморализм новой, «советской» системы ценностей, а также порожденный ею общепринятый и обязательный для всех образ жизни. Революция, выдвинув универсальный (как это многим тогда казалось) принцип совершенного социального строя, опрокинула и старую иерархию ценностей. Главными оказались не человек, не свобода, не истина, а **средства**, очень скоро заменившие собой цели. Теперь кажется чудовишным, что для уяснения простой истины, что совершенный социальный строй, так же как и экономика и техника, относится к средствам, а не целям человеческой жизни, понадобилось столько крови и страданий. Коммунизм не может быть целью — целью, как и высшей ценностью является сам человек, его жизнь, его свобода и творчество, а не социальные преобразования. Разумеется, подменять цель средствами и оправдывать дурные средства высокими целями начали первые не большевики, однако лишь они сумели убедить в правоте своего дела почти полмира и санкционировать тем самым дальнейшие социальные преступления.

Уже для Ленина проблема революции была прежде всего проблемой завоевания и организации власти, которую он осуществлял в атмосфере политиканской лжи и утилитарного расчета. Примат тактики и пользы над принципами истины и правды в дальнейшем был окончательно узаконен: хорошо и полезно лишь то, что служит сохранению власти и ее укреплению. Поэтому нет ничего случайного в том, что произошло сразу после Октябрьского переворота, когда за несколько дней были перечеркнуты все завоевания русского либерализма и демократии: закрыты газеты и издательства, подавлена свобода слова, разогнано Учредительное собрание, начато невиданное еще в новейшей истории гонение на Церковь.

Столь же последовательно была разрешена и национальная проблема. Ленин, еще в феврале поддерживавший идею сепаратизма и поощрявший национальное движение малых народов, после Октября приложил все усилия для подавления сепаратистских стремлений таких «малых» народов и областей, как казачество, Украина, Кавказ, Туркестан и т. п. Национальные движения за независимость были объявлены «реакционными» и «буржуазными», хотя знаменитая формула «о самоопределении народов вплоть до отделения» была впоследствии даже введена в «самую демократическую в мире» конституцию...

Двойственный характер национальной политики коммунистической власти обнаружил себя не только во внутренней жизни страны, но и в мировом масштабе. Мировая политика советской России — причудливое сочетание двух основных тем: темы мировой революции (или иначе, интернационализма) и темы московского империализма. В различные периоды одна из этих тем становилась центральной, определяющей, но никогда не единственной. Даже в самые первые годы революции, когда пафос «мирового пожара» приобретал вселенские размеры и массы, зараженные верой во всеохватывающий огонь Мировой Революции, легко мирились с распадом империи, в голове у «последовательного интернационалиста» Ленина рождались империалистические планы походов в Польшу и Персию... Впрочем, то же самое можно отнести и к последующему времени лишь с той оговоркой, что с темой мировой революции все больше и больше сливается тема советского империализма. Ведь и до сих пор Москва не только родина и финансовый покровитель международного коммунистического авантюризма, но и могущественная империя, которая держит у себя под сапогом больше дюжины поработанных стран и народов.

С приходом Сталина к власти и до настоящего времени империалистическая политика стала доминирующей политикой Советского Союза, тогда как идея интернационализма оказалась лишь прикрытием военной и экономической экспансии. Первой жертвой империалистических вожделиний Советской России в Европе стали союзники СССР — прибалтийские государства. Затем, уже после Второй Мировой войны к ним прибавились и восточно-европейские страны. В связи с этой военно-империалистической политикой следует рассматривать также и роспуск Сталиным Коминтерна и создание взамен него Коминформа, выполнявшего роль кнута для наказания недостаточно покорных правительств «братских» стран. Лишь после смерти Сталина и роспуска Коминформа был выдвинут тезис о «разных путях построения социализма». Это было некоторое отступление, ибо в признании прав на существование отдельных «ересей», сказавшая прежде всего слабость советского империализма, столкнувшегося с сильными национальными стремлениями стран-сателлитов к экономической и политической независимости. Но это отступление, эта слабость была отказом лишь от монополии на идеологическое главенство: что же касается политической и военно-экономической стороны, то венгерские события 1956 года и события в Чехословакии 1968 года показали, что московский империализм отнюдь не отказывается от своей великодержавной политики. То же самое можно сказать и о «бескорыстной помощи» странам Азии и Ближнего Востока. Все это общеизвестно и не требует детального рассмотрения. Важно лишь одно: ни в прошлом, ни в настоящем трагическое противостояние двух начал — России и империи не было еще осознано с достаточной ясностью и глубиной. Сделать это сегодня — первоочередная задача нашего национального сознания.

В этой связи особо важное место должно быть уделено вопросу о характере империалистического сознания советского человека. Не следует думать, что «московский империализм» есть только порождение властолюбивых инстинктов партийной олигархии. Такая точка зрения будет односторонней: отношение между правительством и народом в нашей стране не есть лишь отношение угнетающего верха к поработанному и обманутому низу. Отношения эти более сложны и отражают общую зависимость как верхов, так и низов от поработившей их души лжи. Не только низы, но и верхи парализованы страхом и несут на себе печать рабской психологии. Равнодушие и молчание широких слоев населения после каждого нового преступления своей власти свидетель-

ствует о том, что не коммунисты, а страх и ложь управляют Россией в последние пять десятилетий. Здесь один из роковых парадоксов революции, где побежденные и победители делаются рабами. Ведь не только верхи, но и низы подчинены демонам ненависти, злобы и корысти: террору, порожденному страхом верхов, соответствуют инстинкты страха и мести низов; злобе, идущей сверху, отвечает злоба снизу; лжи пропагандистов — трусливый самообман или нигилизм снизу. И так всюду и так во всем. Неудивительно поэтому, что народ с психологией раба желает рабства другому народу. К этому следует прибавить и «дурную наследственность», ибо советский империализм есть порождение не только коммунистического режима, но и традиционного мессианского сознания, уходящего корнями в глубокое прошлое. Русский коммунистический империализм — трансформация этого сознания. Революция, а затем отечественная война с Германией, самим фактом своей победы развили мощное национальное чувство. Создалось некое подобие исторической перспективы, в которой новое объединилось с прошлым, Россия дореволюционная с Россией советской. Освобождение от татарского ига, возвышение Москвы, государственное дело Петра и колониальная политика царской России — все приобрело новый смысл в свете революционных завоеваний, стало утверждением непрерывности исторического пути России. Прошлое нашло свое оправдание в настоящем, настоящее — в прошлом. Национал-мессианское сознание обрело новое русло: православный крест над Царьградом предстал как несовершенный прообраз будущей пятиконечной звезды над всем миром.

5.

Преодоление национал-мессианского соблазна — первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия. Поэтому не «национальное возрождение», а борьба за Свободу и духовные ценности должна стать центральной творческой идеей нашего будущего. Новое национальное сознание должно исходить не из безотчетной зависимости от природно-исторических образований или традиций, не из концепций национально-экономического возрождения, но из духовной жажды свободы, которая коренится в универсализме христианского мирочувствия. Вот задача, стоящая перед нашей новой оппозиционной интеллигенцией.

Новая оппозиционная интеллигенция, которая рождается в процессе пересмотра идеалов прошлого десятилетия, исчерпывая свои недавние надежды на медленное перерождение коммунистического режима в сторону большей его гуманизации, в отличие от интеллигенции партийной, технической или интеллигенции, ориентированной на культуру, еще не представляет из себя единой социальной группы или касты. Ее составляют самые различные люди, принадлежащие к различным социальным слоям и группам: студенты, служащие, инженеры, рабочие, деятели культуры и искусства. Они различны как по возрасту, так и по своим убеждениям: здесь неоккоммунисты и христиане, националисты и демократы, которых объединяет неприятие режима и лживой пропаганды.

Необходимо отметить также, что новая оппозиционная интеллигенция, при всем ее отрыве от народных масс, представляет, тем не менее, именно породившие ее массы, является как бы органом их самосознания (17). Это многое объясняет как в ее характере, так и в ее мировоззрении. Впрочем, нужно сразу же оговориться: **целостным** мировоззрением новая интеллигенция пока еще не обладает. В отличие от интеллигенции обуржуазившейся и почти парализованной страхом, она обладает волей и стремлением к действию, хотя, может быть, толком еще не представляет, как и куда направить эту волю. Правда, она уже осознала свою искусственную оторванность от прошлого и пытается восстановить насильственно прерванную нить подлинной культурной и правовой традиции: приток новых людей к Церкви, увлечение древне-русской культурой, а также увлечение философией и литературой русского ренессанса XX века, свидетельствуют о том, что необходимое сегодня воссоединение с украденным прошлым уже началось. Но прошлое, вместе с массой ценного, таит в себе и немало соблазнов. Одному из них — национал-мессианизму и его

(17) Это совсем не снимает противоречия между массами и интеллигенцией. Режим в любую минуту может натравить сравнительно широкие слои народных масс на интеллигенцию, как это сделал в Польше Гомулка: стихийное черносотенное движение становится таким образом переключением накопившегося озлобления с подлинного виновника на виновника мнимого. В связи с этим возникает одна из самых серьезных проблем для интеллигенции — проблема формирования общественного мировоззрения и общественного сознания посредством широкого ознакомления со своими воззрениями как русского населения, так и мировой общественности в целом.

религиозно-нравственному обоснованию посвящена эта статья. Сегодня, в момент напряженных поисков и кристаллизации нового мировоззрения, способного **действительно** противостоять диктатуре и общему нигилизму, более чем когда-либо необходима осторожность и трезвость в отношении к нашему прошлому. Прежде всего должно быть отброшено традиционное истолкование назначения России, как средство для будущего вселенского счастья человечества. Эстетическая привлекательность такой идеи не покрывает ее религиозной несостоятельности и нравственной порочности. Это не означает, конечно, отказа от решения проблемы. Наоборот, она должна быть решена, но прежде — осознана и осознана по-новому. Прежде всего необходим новый подход к этой проблеме, подход, который должен начинаться и с новой точки отсчета. Теперь такая точка отсчета — не никоновская или петровские реформы, а большевистская революция, положившая начало невиданному еще доселе порабощению человечества. Необходимо осознать всемирный грех этого преступления и свою ответственность за него. Подлинная задача России состоит не в том, чтобы «спасти» другие народы или удивлять мир своими бывшими культурными достижениями, но в том, чтобы глубоко и окончательно **изжить совершенное преступление** — вот что должно стать центральным пунктом нового сознания, как и отказ от всякого рода надежд на «неминуемую эрозию коммунизма», «постепенную демократизацию» или «либерализацию» режима. Демократизация еще не есть демократия. Демократизация таких устойчивых форм, как диктатура, свидетельствует не столько об оздоровлении страны, сколько о процессе дальнейшего ее разложения. Исаак Дейчер, один из авторов теории «эрозии коммунизма», отразил в своей концепции характерное для широких кругов Запада непонимание специфики коммунистического режима. Популярность его оптимистической теории связана с подсознательной боязнью задерживаться на мысли, что процесс гниения может продолжаться еще столетия, захватывая как все новые и новые страны, так и все новые и души...

Точно так же необходимо отказаться от надежд на возможный военный катаклизм или на «варягов» с Запада. Коммунизм делает все возможное, чтобы избежать войны, ибо война вызывает к жизни те стихийные, иррациональные, а потому и управляемые силы, перед которыми бессильна тоталитарная система. Если же ядерная война или столкновение с Китаем и произойдет, то это окажется роковым не только для коммунистического режима,

но и для страны в целом. Что же касается Запада, то не он, а мы, мы сами должны явить миру свое глубокое и искреннее раскаяние в содеянных преступлениях. Покаяние — единственный путь к рождению нового сознания, на основе которого должна строиться наша жизнь и национальное самосознание. Подлинное покаяние не есть интеллектуальная рефлексия или морализирование над прошлым, но глубинный переворот, радикальный пересмотр всего внутреннего содержания, активный отказ от греха и деятельное вступление на путь новой жизни. Таково первое и основное условие будущего выздоровления.

Очевидно также, что подобный пересмотр должен быть начат не с внеположного бытия, а с правдивого анализа личного сознания, краеугольного камня сознания общественного. Нужно изжить бессознательную зависимость от официальной идеологии, неверие в реальность духа и духовных ценностей, очарованность поверхностными, псевдофилософскими «истинами» диамата и истмата. Сегодня более чем когда-либо стало ясно, что неудача социализма в России не есть неудача случайная, происшедшая, как думают некоторые, в результате неверного истолкования учения Маркса, «нарушения ленинских норм партийной демократии», «культы личности» Сталина, войны и т. п., но неудача коренная и принципиальная, ибо как невозможно построить здание на песке, так и невозможно построить здоровое общество, исходя из утопической направленности сознания. Кризис коммунистической идеи, как и кризис национал-мессианизма есть кризис утопизма, т. е. того самого источника веры, которым долгое время жила Россия. Речь здесь идет не столько о социальном утопизме, сколько о том целостном мировоззрении, симптомом которого является утопизм общественно-политический и национальный. Утопизм вовсе не равнозначен пустой мечтательности или фантазированию о несбыточном: утопии не только могут быть осуществлены, но и не раз уже осуществлялись в истории. Столь же ошибочно противопоставление утопизма научности и науке. Технократическая утопия, замещающая сегодня веру в социализм, при всей своей научности не менее утопична чем «Государство» Платона или «Город Солнца» Кампанеллы, так как утопизм определяется не степенью научности своих идей, но теми метафизическими предпосылками, приняв которые сознание роковым образом оказывается вовлеченным в процесс созидания проектов вечно распадающегося здания человеческого счастья.

Оставляя в стороне анализ природы утопического сознания, необходимо еще раз оговорить его основную метафизическую направленность, — **принципиальный имманентизм**. Пафос утопизма есть пафос имманентности, посяторонности, пафос отказа от трансцендентности Абсолютного Бытия. Но отказ от запредельности Абсолютного Бытия не означает отказа от присущих сознанию категорий абсолютности — происходит лишь перенесение их на бытие относительное, приписывание ему характера абсолютности. Абсолютизация относительного, извращающая иерархическую структуру бытия и подменяющая высшие ценности ценностями низшего порядка, неминуемо приводит к трагическому обвалу: абсолютизация человека оборачивается идеей казарменного государства или всеобщим каннибализмом, абсолютизация экономики — духовным рабством, абсолютизация нации — национальным вырождением и т. д. (18).

Осознание скрытых опасностей утопизма должно стать основой не только для понимания процессов произошедших в России за последние пятьдесят лет, но и для решения всех тех проблем, перед которыми стоим мы сегодня. Любой вопрос, будь то вопрос о свободе политических и общественных движений или вопрос об экономической реформе, может найти истинное решение только на основе тех **абсолютных** предпосылок, утрата которых привела к искажению или смерти все относительные формы. Лишь с этих позиций возможно преодоление утопизма в различных его вариантах: утопизма историософского, национального или социально-политического.

Необходимо окончательно осознать, что ни абстрактные категории, ни общество, ни нация, ни народ не представляют собой тех высших ценностей, ради которых можно пожертвовать человеческой личностью. В противном случае весь пафос свободы

(18) Но утопизм, как это ни парадоксально, есть не только ослепленность сознания, но и свидетельство о высшем предназначении человека. В убеждении, что абсолютное бытие имманентно тварному миру, а потому и осуществимо в нем, убеждении, объединяющем строителей Вавилонской башни с идеологами средневековой теократии и основоположниками «научного» социализма, горит неумирающее ожидание Царствия Божия — замутненная память о потерянном рае. Но рай не возвратим только человеческими средствами, без помощи Божией и помимо искупительной жертвы Христа. Несоввершенство мира есть несовершенство более коренное и глубокое, нежели это представляется утопическому сознанию.

и демократии не имеет ни малейшего смысла. Если в человеке нет абсолютной ценности, если он — лишь средство для будущего, то деспотизм непреодолим. Но увидеть и признать в человеке безотносительную ценность можно только с позиции иного мирозерцания, нежели мирозерцания марксистского или атеистического. Выработка и обоснование этого нового мировоззрения и является сейчас первоочередной задачей русской интеллигенции.

Сейчас нужны не политические программы, не отвлеченные идеологии, не слепая ненависть к большевизму, но целостное сознание, основанное на утверждении абсолютных духовных ценностей. Только такая ориентация является наиболее плодотворной в процессе зарождения здорового общественного движения и разработки основ будущего государственного устройства.

Путь к становлению нового сознания, долженствующего стать духовно-нравственной силой в борьбе за Россию и свободу, проходит не только через отказ от большевистской психологии, но и через отказ от идей национальной исключительности и мессианизма.

Новое национальное сознание должно строиться не на бессознательном патриотизме, но на глубоком осознании тех задач, которые стоят перед Россией. Истинная любовь к родине есть осмысленный творческий акт духовного самоопределения, а не инстинктивная зависимость от природных и родовых стихий. Человек как существо духовное и душевно-телесное принадлежит в своей жизни и творчестве не только к животному миру, роду или нации, но и к миру духовному. Благодаря своей духовности, являющейся основой и содержанием личности, человек поднимается над натуральными стихиями бытия, оказывается их властелином и творцом. Но эта укорененность человека в мире божественном не упраздняет ни истории, ни национальности, ибо человек призван не к отрицанию Богом созданного, но падшего мира, а к его просветлению и обожению. Вот почему религия и культура, универсальные и сверхнациональные по своему существу, раскрываются в этом мире через его стихии и формы, хотя и преодолевают их: такие национальные гении как Шекспир или Гете, не говоря уже о святых, принадлежат не только своему времени и народу, но и всему человечеству. Именно поэтому, нация есть не только этническая территориальная и государственная общность, но — и это прежде всего — общность религиозная и культурная. Об этом хорошо знали уже в классической древности, где эллинство

было широкой национальной идеей, не ущемлявшейся в территориальные и государственные рамки. «Эллинами называются скорее те, кто участвует в нашей культуре, чем те, кто имеет общее с нами происхождение», — писал Исократ. Отсюда нация предстает не только как данность или факт, но как творческая задача и долг, как **заданность**. Вот почему духовная работа и культурное творчество, направленное на возрождение христианства и подлинной культуры в России, есть наша первоочередная **национальная** задача. В дореволюционной России эта идея не была осознана с достаточной ясностью и глубиной. Русифицированное православие и культура, отождествлявшиеся нередко с государственностью и националистическими интересами (особенно в период Московского царства и вторую половину XIX в.), были бессильны внутренне организовать и одушевить тело империи. Коммунистический режим, добившийся внешнего объединения посредством военно-государственного вмешательства и террора, лишь усугубил старые грехи, предопределив тем самым неминуемость национальной катастрофы для России, ибо процессы национального самосознания и национальные движения за независимость, сдавленные тисками советского империализма и загнанные в подполье, являются теми активными центробежными силами, которые при своем высвобождении неминуемо приведут к обвалу советской империи. Не только страны-сателлиты, но и Прибалтика, Украина, Кавказ, народы Средней Азии обязательно потребуют своего права на отделение и выход из прослынутого «нерушимого союза»...

Сегодня трудно очертить границы будущей России, как и трудно представить себе ее взаимоотношение с отделившимися от нее народами. Возможно, что в основе окажется федерация или какая-либо другая форма мирного и дружественного сосуществования. Но возможно также, что многовековое притеснение этих стран, а также рост национального самосознания приведут и к более сложным отношениям. Одно несомненно: распад советской империи не является ни унижительным, ни противоестественным для России. Лишенная своих колоний, Россия не обеднеет экономически, как и не потеряет своего политического значения. Освобожденная от оккупационных и насильственных стремлений, она окажется перед истинными своими проблемами: построением свободного демократического общества, религиозным возрождением и созданием национальной культуры.

Такая перспектива у многих русских патриотов может вызвать чувство горькой обиды и негодования. Неужели вся русская

история — крещение дикого народа князем Владимиром, Киевская Русь, татарское иго, мучительное возвышение Москвы, дело Петра, расцвет культуры XIX и начала XX веков, пророчества Хомякова и Достоевского, кошмар революции, кровь и невероятные страдания народа — должна окончиться взрывом сепаратистских страстей или «демократией западного типа» с парламентом и борьбой профсоюзов...

Горечь и негодование вполне понятны. Но не эти чувства должны владеть нами. Вопиющий к небу грех преступления наших отцов и дедов не изжит; сросшись с нашими сердцами, он парализовал волю и стремление к нравственному очищению. Почти все мы пытаемся не думать об этом, закрыть глаза, уйти от ответственности. Но есть ведь и пределы падению и бесчестию. Поэтому не упразднится, но с еще большей силой звучит сегодня призыв Хомякова:

За все, за всякие страданья,
За всякий погранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

М. ЧЕЛНОВ

КАК БЫТЬ ?

Пережитый исторический опыт и взгляд, брошенный на русскую действительность, дают не много оснований для оптимизма. Но христианин данными от Бога властью и мужеством должен противостоять силам зла, под каким бы облищем они ни врывались в нашу жизнь и как бы безнадежна с точки зрения человеческой ни казалась борьба с ними. В наш век разгула социальных страстей, невиданного человекоубийства и попрания свободы, когда inferнальные силы человеческой души вырвались на поверхность общественной жизни, экстерииризовались, воплотились во внешнее человеку и извне поработящее его зло, долг христиан — служить воплощению в социальной жизни божественных сил, также скрытых в недрах человеческого существа. Вера в дух, стяжание Духа Святого и воплощение духа любви на всех ступенях человеческого бытия — первый долг христианина перед Богом и перед людьми. Мы не знаем, что ждет мир и Россию завтра, но вместе с русским социальным мыслителем Г. П. Федотовым мы уверены, что, если человечество и может погибнуть на разных путях: в коммунизме, фашизме, расизме или буржуазном разложении, то спастись оно может только в христианстве.

В этой статье пойдет речь о коммунизме как феномене духовного порядка, как религии земного благополучия, изменившей весь строй русской души и жизни. Впервые в истории коммунистическая идея пленила душу всего народа, создала господствующую идеологию в лице марксистско-ленинской философии, собрала вокруг себя могущественную партию, соединившую полноту политической и экономической власти с вероучительным авторитетом и установившую невиданную идеократию. Поскольку всеобщность и обязательность идеи превращает порожденную ею идеологию в догму, а последняя предполагает религиозное к себе отношение, то и партия ее хранителей выступает, как особое жреческое сословие, выполняющее функцию церкви. Во все времена Церковь хранила и воплощала в общественной жизни народную святыню, которая символизировалась храмом — обязательной принадлежностью любого общества. Государство атеистическое, отвергающее всякую религию (слово religio означает отношение человеческого духа к запредельному, невидимому духовному

миру), т. е. личного Бога и сверхчувственный мир, и утверждающее только земное материальное существование, создавая лже-церковь, само начинает эксплуатировать религиозную потребность человека, теперь уже извращенно направленную на новую фальшивую святыню. Если французская революция откровенно объявила культ Разума и выстроила последнему храм, то Октябрьский переворот в России сделал то же самое в прикровенной форме. Нам представляется, что коммунистическая идеократия прошла через две стадии: 1) возникновение (революция, пореволюционные годы, НЭП), 2) упрочение и кульминацию (коллективизация, довоенные и послевоенные годы), и в настоящее время (после смерти Сталина) находится в третьей стадии — медленной и стабильной реформации. Хотя ее существо оставалось неизменным, менялись связанные с ним качества. Постараемся проследить метаморфозу различных сторон идеократической системы, начав с изменений, которые претерпела коммунистическая лже-религиозность.

В первый период ее отличительной чертой является революционный эсхатологизм, апофеоз социалистического упования: вот-вот произойдет рождение из необходимости в царство свободы, вот-вот жизнь преобразится сама собой. Пафос новизны и чаяние немедленно чуда делали большевиков похожими на апокалиптическую секту. Это вершина богоборчества в духе революционного романтизма, самоутверждающейся личности, взнуздавшей коня истории. Идеология этого момента — философия торжествующего социального титанизма. Она становится основанием коммунистической лже-соборности. Единение строится на революционной ненависти к старому миру, к эксплуататорам и «буржуям», на противопоставление своего социалистического «мы» всемирному империалистическому «они». Источник единения лежит в отталкивании от внешних врагов, в горении общим огнем пролетарского мессианизма. Вся страна делится по идеологическому принципу на две неравные половины: принявших и не принявших коммунизм. Партия, организованная по военному образцу путем диктатуры и уничтожения всех свобод, утверждает господство над слабо дифференцированной массой населения. Коммунистическая идеология крепнет и принудительно вытесняет соперниц, завоевывает высшую школу и становится единственной и обязательной к концу 20-х гг. Ее основным врагом является православная Церковь, укрепленная Всероссийским собором 1917 г., с которой государство борется методами террора, провокацией церковного раскола, разнузданной агитацией. Для этого периода характерно возрождение религиоз-

ной жизни, приход к Церкви интеллигенции, многочисленные случаи мученичества. Под возрастающим давлением идеологии перерождается культура. Христианская и национальная культура приносится в жертву марксистскому интернационализму. Старая интеллигенция высматывается, изолируется или деклассируется. В насильственной индустриализации разрушается многовековой национальный уклад жизни, уничтожается свободное крестьянство и вместе с ним культура сельского хозяйствования.

Отказ от запретов христианской (или как тогда говорили «буржуазной») этики, оправдание неизменных, звериных инстинктов для поддержания классово-ненависти и насилия, возведение богоотступничества и братоубийства на вершину революционного долга, растлевает души, приводит к нравственному перерождению народа. В лице большевиков Россия вызвала к жизни новый биологический тип людей: жестоких, сильных и целеустремленных строителей новой жизни из человеческого материала, во всем противоположных излюбленному в русской литературе типу мягкого, смиренного, сострадательного человека. Этот новый тип человека занял центральное место в новой общественной иерархии, основополагающим принципом которой явился отказ от общечеловеческой этики во имя максимальной пригодности для коммунистической идеократии.

Во второй период все названные моменты предстают в несколько ином освещении. На смену революционному эсхатологизму приходит обожение партии и вождя, последовательная сакрализация рабоче-крестьянского государства, которое превращается в священную социалистическую империю, живущую иллюзией социально-экономического совершенства и полноты бытия. Идеология и история мифологизируются, что приводит к внутренней борьбе с ересями, поскольку уже все активные инакомыслящие группы населения уничтожены и коммунистическая доктрина получила абсолютное господство. Источник единения полагается в борьбе с еретиком. Дополнительными основаниями лже-соборности становятся ненависть к «врагам народа», к инакомыслящим в партии, осознание своей национальной избранности (вторая половина периода). Пролетарский мессианизм особенно в послевоенные годы приобретает ярко выраженный русофильский характер. Отношение властей к Церкви также претерпевает перемену: если в течение тридцатых годов тихоновская Церковь уничтожена почти полностью, то война, возродившая религиозные и патриотические настроения, вынудила власть к частичному восстановлению госу-

дарственной православной Церкви в качестве традиционного атрибута национальной жизни. Теперь в социалистической империи все явственней слышатся отголоски бывшего византизма. В этот период окончательно формируется пролетарская культура в лице социалистического классицизма. Индустриализация, сведя сельское хозяйство к первобытному состоянию, порождает новую научно-техническую интеллигенцию, узко специализированную и непродуцируемо эксплуатируемую системой. Наемный труд в огромных масштабах заменяется рабским и принудительным. Общество разделяется на три категории, охватывающие почти все население: властителей, заключенных и соглядатаев. Донос становится жизненной нормой, каждый десятый взрослый оказывается государственным преступником. Система попадает в рабство к собственной внутренней необходимости и свобода действия исчезает на всех ступенях иерархии сверху донизу, чему сопутствует полное нравственное перерождение. Партия, неспособная положительно разрешить экономическую и социальную коллизию, после смерти вождя выдвигает новый принцип: рост жизненного уровня советского человека. Система переходит в третью стадию существования. Вместе с ослаблением эсхатологических чаяний гаснет и коммунистическая мистика. С исчезновением ее мрачного огонька коммунизм становится сам собой — религией земного благополучия с неприкрываемым обожествлением материального человеческого житья. Население с охотой принимает не требующий былых жертв государственный идеал «зажиточности» и «неуклонного роста жизненного уровня». За счет угашения духа и понижения социального энтузиазма приземленность идеала достигает его большую стабилизацию и укорененность в душах подавляющего большинства населения, интересы собственного благополучия которого целиком резонируют с государственной программой. Догматизация идеологии ослабляется, что только способствует ее углублению и распространению в интеллигентском сознании. Снимается грань между народным и партийным самосознанием. Коммунистическая идеология естественно становится народным символом веры. Дальнейшая бюрократизация, усредненность жизненного уровня и добровольная общепринятость идеологии создают устойчивую абсолютно безрелигиозную общественную систему. Эта в меру человеколюбивая система целенаправлена и способна к самовоспроизведению. Несмотря на любые внутренние экономические и политические неурядицы, ее сбалансированность обеспечивается единством жизненных ценностей и поведенческой структуры у

господствующей партии и народа. В основу лже-соборности, единой теперь весь народ, ложится поголовное желание достигнуть материального благополучия, обеспеченно устроиться в этой жизни, без свободы и без укоров совести, не вспоминая о своей кровавой истории и всеобщем преступлении. Обуржуазиванию сопутствует с одной стороны рост религиозного индифферентизма населения, с другой — антицерковная политика власти, отказавшейся от византийских настроений сталинской эпохи. В культурной сфере следует отметить завершение индустриализации и вымирание неиндустриальных форм хозяйства, машинизацию жизни, рост технократической тенденции. Все сферы общественного бытия превратились в функцию индустриальной системы. Рост индустриализма ведет к росту значения научно-технической интеллигенции, которая несет с собой узко профессионалистическое самозамыкание, технократическую утопию, гонор полуобразованного невежества. Пробуждению в ее среде нравственного сознания и гражданской совести препятствуют все ее качества, и главное, отсутствие общенациональной духовной культуры, разобщающее классы и группы. Полуобразованное наукобожие способствует дальнейшему обездушению общественной жизни.

Коммунистические представления о должном и запретном распространились и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Ослабление социального пафоса и признание в качестве идеала жизненное благополучие привели к усилению эгоцентризма и разобщению, к резкому росту аморализма и преступности. Мещанский идеал уничтожил почву для рождения гражданского мужества и самопожертвования. Общенациональный дефект нравственного сознания захватил и всю интеллигенцию. Не представляется удивительным, что атеистическое государство приводит к созданию сверхсистемы, из которой полностью исключена свобода, не какая-либо из частных свобод: совести, слова, собраний, которые исчезают с момента ее возникновения, а **свобода** как таковая. Личность во всех планах своего общественного проявления попадает в четкоотлаженный и не зависящий от нее механизм чистой необходимости. В нем она даже теряет сознание своей собственной унизительной несвободы, теряет сознание, что она есть только средство для непонятной внечеловеческой цели, слепо осуществляемой общественным механизмом. Этому способствует всеобщая ложь, которая стала нормой существования. Она настолько нерасторжимо связана с самим существом советского бытия, что даже нельзя сказать, кто в ней повинен. Ложь поддерживает привычку к гос-

подствующему образу жизни, не позволяя его сравнить с другим, а образ жизни воспроизводит ее в естественном порядке. С раннего детства в советском человеке появляется внутренний цензор, не позволяющий выйти за рамки социалистически дозволенного. С одной стороны, он спасает физическое существование человека и способствует его приспособлению к системе, с другой стороны, он постепенно замещает совесть, становится нашим «я», незаметно превращает личность в элемент системы.

Все это не проходит безнаказанно и в общественном смысле: дегуманизация приводит к падению творческой энергии, работоспособности, производительности. Воспитание в научно-технической интеллигенции узкого профессионализма без общечеловеческой культуры и гражданского самосознания, превращает ее в ученых свинок, и тем облегчает ее эксплуатацию системой, но ценою (быть может, неосознанной) перманентной умственной деградации.

Читатель может возразить, что тенденция к бюрократизации, механизации и дегуманизации человеческих отношений действует во всем мире современного индустриализма, что этот процесс неизбежен и Россия не составляет здесь исключения. Это справедливо, но остается заметить, что коммунистическая идеократия, вооруженная марксизмом, оказалась наиболее совершенным наставником индустриальной культуры и образа жизни. (Здесь имеются в виду не количественные достижения, которые у нас, как известно, невысоки, но качественное сведение всего многообразия духовной жизни к единой цели — машинизации общества.) Как целостная система онтологии, космологии, теории познания, этики, философии истории, подчиняющая себе общественные и естественные науки, марксизм-ленинизм требует единства мысли и жизни, теории и действия, т. е. оказывается системой религиозного имманентизма, религией здесь-бытия, метафизикой посюсторонности. В силу этого он не опровержим никакими эмпирическими фактами и противоречиями, он никогда не рухнет из-за своих недостатков. Представляя собой наиболее совершенную из всех доньше существовавших метафизических систем социального атеизма, марксизм-ленинизм находит поддержку не в научности и логичности, а в богоборческой глубине самодовлеющего человеческого существа. Богоборческая самость человеческого духа, не желающего сломить свою гордыню и своеволие — вот неиссякаемый источник коммунистической лже-религии и ее идеологии. Как всякая теория

опровергается только лучшей теорией, так и марксизм может быть побежден только равноценной ему по социальной действительности подлинно религиозной системой, которая смогла бы разомкнуть духовный кругозор личности и вывести ее за пределы замыкающегося на самого себя мира социальных необходимостей к простору животворящего богообщения. Если человек смертен полностью и его земным существованием все исчерпывается, то надо приспособляться к условиям и законам этого мира, хотя он и лежит во зле. Более слабые приспособляются, сильнейшие пытаются социально организовать этот мир по человеческим чертежам и тоже приспособляются; как те, так и другие попадают в рабство необходимости, тешась иллюзией свободы и самостоятельности. Если в первый период существования общества каждый коммунист полагал смысл своего бытия в будущем, во второй период — в обожествленной партии, то сегодня центр переместился в него самого. Все стали жить для себя, подчиняясь безличной и уже независимой от воли людей системе, механизм которой настолько усовершенствован, что способен использовать свои составные части без их и даже наперекор их согласию. Поскольку коммунистический режим держится только на самовоспроизводящей идеологии (в этом сущность всякой идеократии), то он и требует более любого другого государства идеологического единства подданных, которое означает единство нравственных волей, подчиненных идее. Опыт наших дней показал, что идее не нужно активного служения, достаточно лишь подчинения человеческой воли, отказ от своей свободы, признание здесь-бытия своим единственным и непреложным законом. Все остальное совершается само собой. Общество вытягивается в одну плоскость, причем любая множественность возможна лишь в одном измерении — а именно в этой плоскости. Сама же она, как мы видели, легла под углом к общечеловеческой социальности. Все нормы поведения и сознания наклонились таким образом, что и каждый советский человек независимо от своего желания стоит под углом. Он не может выпрямиться и выпрямить других, поскольку подчиняется обязательным законам **кривостояния**, для которых естественная человеческая прямизна кажется нелепой позой.

Эта кривопоставленная плоскость бытия общеобязательна и не устранима, в том и состоит дьявольская издевка над человеком, что, как бы он ни повернулся и чем бы ни занялся, он остается на ней, превратись он даже в самого заядлого ненавистника режима. Выход здесь может быть только один — обретение опоры

в иной плоскости, плоскости **стояния-в-истине**. Застывшая в необходимости социальность может быть изменена только через одухотворение человеческой души, оличествление погибающей личности подвигом покаяния и обращения к Богу.

Наше время, обнаружившее бессилие человека в самом его торжестве, открывает неожиданно-таинственный социальный смысл евангельской притчи Спасителя о виноградной лозе и ветвях: «Пребудьте во Мне и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода: ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15,4-5). Из принудительной коммунистической социальности путь исхода лежит не через политику, общественность и культуру, но через аскезу, через акт нравственного покаяния, через обретение духа любви. Нужно, чтобы в глубинном центре души, где русский человек отрекся от Бога и свободы и поклонился идолу коммунизма, свершилось таинственное единение с высшей силой, способной вернуть нас к подлинной жизни.

Всякое рабство есть следствие греха, которое снимается покаянием. То же можно сказать и о рабстве общественном. Нельзя ждать спасения извне, раз и порабощение пришло не извне, а изнутри. Большевики — не татары и не варяги, не пришельцы, но органическое порождение всей русской жизни, всех исторических грехов России. Коммунизм не есть внешнее зло, в котором повинны только партия и ее вожди, его ложь и преступления принадлежат всем нам, всему русскому народу. Если нация есть не случайная историческая комбинация индивидуумов, но некое духовное целое, заставляющее русских гордиться своими великими людьми и их заслуги воспринимать как национальную славу, то почему же иным должно быть отношение к своим преступникам? Если общая слава, то и бесславье должно быть общим. Если мы наследники Святой Руси, то мы и наследники России чекистских застенков и концентрационных лагерей. Потому и коммунизм есть общий грех, искоренимый только всеобщим покаянием. И как невозможно спасти свою душу в одиночестве, ибо каждый поистине за всех виноват, так и невозможно индивидуально спасение от социального зла, уход в себя, буддийская отрешенность. Нужна христианская общественность, а не вылазки в одиночку, **плоскость** **стояния-в-истине** а не точка стояния, нужна **армия** общественного спасения в подлинном духовном смысле, которая строила бы борь-

бу с социальным злом на почве активного делания конкретного добра в единстве и взаимной помощи всех делателей.

Первым шагом на этом пути могут стать небольшие тайные христианские братства. В единстве целей и средств, в делах милосердия, в проповеди, в обличении лжи, в борьбе за справедливость и человечность, в том духе любви, который объединит их членов, родится плоть будущей общественности России. И если путь их тернист и неизбежно жертвен, то и Сын Божий пришел на землю, чтобы принять крестную муку за чужие грехи. Разве не в сплоченности и единодушной решимости пострадать за Христа залог победы Церкви? И разве не таковое мужество заповедал апостол: «...Не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование гибели, а для вас — спасение. И сие от Бога» (Флп. 1,28).

Такие братства должны возникать в Церкви и только в ней, черпая духовные силы в молитвенном и евхаристическом Богообщении. И здесь встает практический вопрос, связанный с нынешним положением православия в России. Не говоря о таких общеизвестных вещах, как отсутствие церквей во многих городах, невежество и запуганность духовенства, упадок церковного учительства и, наконец, непрерывный надзор власти, стоит указать на одну существенную повсеместную черту, свойственную даже лучшим православным священникам: неумение, нежелание, духовная боязнь всяческого самостоятельного внешнего делания. Такой священник благословляет своих прихожан на служение двум господам: на участие в общесоветском карьеризме (в большинстве случаев, в особенности для гуманитариев, несовместимое с христианством) и на церковно-молитвенную жизнь в свободное от службы и общественной работы время. Но он никогда не благословит инициативу христианина вырваться из принудительной коммунистической социальности в социальность новую и свободную, творимую из глубины христианского духа. Уйти в монастырь (впрочем, в России монастырей не осталось), замкнуться в домашне-церковном благочестии, делать посильное добро и смиряться перед начальством — вот невеликий набор рецептов, которые предписывают, как отгородиться от зла безбожной действительности, как спастись от нее, а не как ее изменить, улучшить, просветить верой, как на нее воздействовать.

Дело в том, что православный священник почти такой же **советский** человек, как и его прихожане, как и весь народ. И

если коммунистическая лже-религия не затронула его веры в Бога, то коммунистическая идеология проникла в ту сферу его души, которая обращена к миру. Здесь имеет место трагическая в своей неосознанности двойственность: оставаясь христианином в личной жизни и литургическом служении, православный священник, поскольку дышит воздухом тотальной идеологии, разделяет ее антихристианские взгляды в области культуры, политики, общественной жизни, что не может не отражаться на его пастырской деятельности. Священник оказывается жертвой двойного сознания. Так как православная Церковь не имеет собственного воззрения по всем насущным вопросам современности, то и личная вера православного христианина вступает в неразрешимое противоречие с его общественным мировоззрением.

Неспособность православного священника или епископа благословить ставящие социальные задачи братство мирян и тем более духовно руководить им восходит к исторической неспособности православия самому, помимо и тем более против государства, устраивать свою земную жизнь. Одним давлением атеистической власти не объяснить сегодняшнего бессилия православия. В нем самом горит желание прилипнуть к какой-либо форме государственности, выражающееся равно как в раблении перед коммунистами, так и в новейших идеализациях самодержавия и бывшей «симфонии» Церкви и империи. Неспособность Церкви возродиться после огненной и кровавой купели десятков тысяч новейших российских мучеников — суровый приговор православию, следствие шестнадцативекового единства Церкви и империи, церковного сервилизма и паразитарности одновременно. Освятив в лице царя-помазанника государство и уступив ему право решающего голоса в делах самой Церкви, православие ушло из мира вглубь молитвы, забыв о своем апостольском происхождении. В христианской стране не Церковь, а монархия ее руками воспитывала народ для культурной и общественной жизни, священник и чиновник, архиерей и генерал слились воедино в народном сознании, подобно двуглавному орлу империи. Атеистическое государство, возникшее на ее развалинах, бесовская одержимость и озлобленность народа против Бога, дошедшие до журналов вроде «Веселого безбожника» — это исторический грех всей православной Церкви, которая не стала «матерью и наставницей» русского человека во всей должной полноте.

И этот исторический грех перед русским народом, которого Церковь поставлена духовно, нравственно и культурно воспитывать

и защищать от произвола власти, и перед Богом, Который создал Свою Церковь для земного, человеческого делания, далеко еще не изжит. «Православие возродится в свободной демократической России» — утверждают некоторые богословы, не понимая, что такой ответ не лучше утешения, что православие возродится в Царствии Божием. Церковь должна сама стать силой, возрождающей Россию. Христианин должен стать рыцарем, который спит вооруженным у храма Господня. Церковь странствующая, деятельная, учащая, вмешивающаяся в нашу жизнь, тревожащая нашу спящую душу, зовущая ее восстать и осуществить свой долг — вот наш идеал и наша задача. Именно к такой Церкви воззвал Господь: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поприще людям. Вы свет мира... итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам... Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» (Мф. V, 13-14; XXVIII, 19-20; X, 7-8).

Нельзя отговариваться тем, что в наш просвещенный век больных исцеляют врачи, мертвых не воскресить, а прокаженных и бесноватых не встретишь. Мы живем в России, стране отрекшейся от Христа и оттого исполненной духами всяческой злобы и нечистоты. Накануне тысячелетия Крещения Руси мы встали перед необходимостью крестить Россию заново. Душа ее мертва от безверия, отчаяния, безнадежности, цинизма. Проказа бескультурья, невежества и нищеты покрывает ее с ног до головы. Смертельная болезнь всеобщей лжи и обмана, нераскаянного преступления точит ее душу. Очищать от проказы коммунистической мифологии, воскрешать светом Христовой веры мертвых от безверия и отчаяния, изгонять бесов злобы, ненависти, насилия, невежества и тупости — вот дело новых апостолов, через которое разгорится в России вечный огонь, принесенный Спасителем на землю; дело, через которое возродится русская Церковь.

Нужно объединяться в братства, действовать в духе и силе религиозных орденов, со времен средневековья оказывавшихся неизменным орудием западной Церкви, силою, восстанавливающей в вере и вновь собирающей отпавшие народы. Только такие ордены, отказывающиеся от политических задач, от власти и насилия, неизбежно жертвенные, утверждающие себя в качестве духовно-нравственной силы, противостоящей господствующей коммунисти-

ческой лже-церкви и активно осуществляющие воплощение добра и правды Христовой, могут вывести Россию из нынешнего духовного тупика. Сочетая подлинную религиозность с активным общественным служением, они явятся залогом будущего возрождения Церкви. Через них осуществится преодоление русско-византийского церковного неделания, более того, преодоление православной отъединенности, выход во вселенскость. Их будущие члены, миссионеры и священники, искоренив в себе застарелый соблазн пассивности и современный недуг двойного сознания, станут камнями возрожденной Церкви. Повсюду создавая маленькие общины-братства, в которые должен закладываться принцип **обязательного** социального действия, проповеди и помощи, они положат основание новой плоскости **стояния-в-истине**, подготовят почву для культурного, социального и политического возрождения. Но не эти сферы, а дело религиозное, стоящее во главе угла всякого свободного начинания, должно быть нашей непосредственной задачей, по бессмертному слову апостола:

«Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских: потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». (Ефес. VI, 10-17).

1969 г.

А. УСТИНОВ

ЧУДО

(Окончание)*

4. — ЧУДО В ИСТОРИИ

К истории нас подвели уже такие «загадки природы», как возникновение мышления, речи и свободы воли. Они относятся к философской антропологии, т. е. концептуальному учению о человеке, которое весьма мало имеет общего с антропологией как главой зоологии и должно было бы лучше именоваться **антропономией**.

С нашей точки зрения, они могут быть охарактеризованы, как тот же разряд «теоретических чудес», что и происхождение материи. Естественные это явления или нет, надо обладать чрезвычайно теоретическим складом ума, чтобы живо воспринять их как чудеса.

И, однако, каков бы ни был сам по себе антропономический комплекс, он сразу вводит нас в область, по существу однородную с жизненным миром.

Человек как субъект жизненного мира, как носитель субстанционального бытия не может быть просто отличен от Бога как Сущего, который по своему понятию есть носитель бытия. Этот основной принцип антропономии, утверждающий столь необычное для конечного мышления тождество, был возведен христианством и, в более абстрактной форме, религиями Индии. Он может быть пережит человеком, и это поистине удивительно.

В связи с этим стоит схоластическое и парацельсовское учение о человеке как о микрокосме, который в определенном смысле (ценностном, а также по сложности строения) равнозначен всей вселенной в ее совокупности. Согласно учению Григория Паламы (XIV в.) человек есть краткое резюме вселенной, «анакефалеосис» творения. Аналогичный взгляд на человека как «всеживотное» развивал С. Н. Булгаков, истолковывая в этом плане биологические данные о сходстве человека с другими представителями животного мира. Но в такой же мере, как для биологии, человек является исходным для логики. В частности, тождеством своего самосознания он дает образец для логического закона тождества, что было замечено уже Фихте.

*) См. начало «Вестник» № 95—96.

С нашей точки зрения это связывается с онтологической основой жизненного мира — субстанциальным бытием. Оно, будучи вполне человеческим, человечным и антропоморфным, вводит человека в принцип онтологического масштаба, открывает его бытие как теоморфное, субстанциальное и бессмертное. Без этого не может быть понято учение Паламы о человеке как «Боге по благодати», не отличающемся от Сущего не только по жизни, но даже по существованию. Как говорит Иоанн Златоуст в своем толковании на «Послание к евреям», «как зрак раба (Филип. II, 7) означает не что иное, как совершенного человека, так и образ Бога означает не что иное, как Бога».

Конечно, это есть учение о чуде, и самое чудо постижения этого учения не может быть чем-то повседневным или дающимся без внутреннего молитвенного усилия. В остальное время жизни человек вынужден довольствоваться хоть небольшим, да все же искажением истины, подменяя, например, понятие о человеке представлением о «каждом человеке» или «человеке вообще». Выяснение смысла существования как отдельного человека, так и целого народа или иного исторического тела может совершаться только **очень просто**, способом очевидным, но не поддающимся дискурсивному объяснению, путем «обыкновенного чуда».

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал.

Чудо есть избавление от отчаяния, от «трупного» состояния.

Итак, вступление человека в историю было чудом. «Естественная» история кончилась, началась история. Это прекрасный пример того, как «естественное» кончается, не кончаясь. Ведь человек ни в каком смысле не перестал быть биологическим существом!

Если же человек не эволюционирует биологически, то только потому, что он **не хочет** этого. Предки наши хотели, а стало быть и могли. Весь органический мир охвачен желанием изменяться. Впрочем, есть и дезертиры; например, мшанки какими были сотни миллионов лет назад, такими и остались. Речь идет о бессознательном желании. Да и у человеческого рода желание «не изменяться» не выступает как отчетливо сформулированное. При желании уже и сейчас, хотя мы и не умеем производить операций на генах, можно было бы вывести ряд искусственных рас людей, подобно тому, как это имеет место с породами скота. Этому

препятствует некоторая неуловимая, но вполне реальная сила, которую можно называть «общественным мнением», «современным сознанием» или даже «мировым духом» и которая действительно есть сознание человечества, но не сумма сознаний индивидуумов или усреднение, полученное с помощью прессы и телевидения, а всегда существовавшее единство, первичное по отношению к индивидуальным сознаниям.

Ноуменологическое, рационалистически не объяснимое единство человечества проявляется в общности и параллельной одновременности его духовных проявлений, которым не мешает географическая и культурная отдаленность. Я не говорю уже о таких встречающихся буквально на каждом шагу фактах, как одновременность появления двух определивших русскую литературу книг, «Горя от ума» и «Евгения Онегина»; переоткрытие в 1900 г. законов Менделя одновременно тремя учеными в разных странах (Чермаком, Корренсом и де Фризом), результатом которого было крупнейшее за всю историю революционное углубление биологии; такая же трипликация — независимая выработка первых принципов кибернетики тремя группами американских ученых в 1943 г.; и бесконечное множество других совпадений, о которых каждый знает из своего опыта.

Вспомним о сближенности во времени религиозно-философских революций, произведенных Лао-Цзы и Конфуцием в Китае, Пифагором и Сократом в Греции, Буддой в Индии (все в VI—V веках до н. э.). Опять-таки подобные совпадения не имеют доказательной силы для того, кто не усматривает в них логики и внутренней связи.

Прекрасно о «человечестве как о чем-то единственном и едио-душном» выразился Метерлинк в своем «Царстве материи»: «Кажется странным, что понижение уровня мысли в массе, той мысли, которую едва так можно назвать, может иметь некоторое влияние на характер, нравственность, привычку к труду, идеал, чувство долга, независимость и умственную мощь астронома, химика, поэта или философа. Однако замечено, что оно имеет влияние, и даже решающее. Ни одна идея не загорится ярким пламенем на высотах, если бесчисленные и однообразные мелкие идеи равнины не достигнут известного уровня».

В самой основе чуда есть нечто, что мешает его исключительной субъективности, делает его как бы общим достоянием. В то же время неизбежное восприятие чуда как ни на что не похожего,

редкостного, благодатного препятствует какому бы то ни было конформизму, благоприятствует личности. Личность **есть** чудо, и ничто безличное не может быть чудесным. Но исходя из общего принципа признания за каждым человеком человеческого (и более чем человеческого) достоинства, мы должны придти к иррациональной концепции общества, потому что ни понятие достоинства не является рациональным, ни принцип равенства — научным (скорее наоборот, то, что дает людям основание на равные права, решительно выходит за пределы естественнонаучной области, ибо в любом эксперименте мы можем найти только новые и новые доказательства **неравенства** людей).

Человеку, живущему в некотором обществе, оно обычно кажется естественным и построенным вполне рационально. Между тем общественная жизнь построена на вере в чудо или по крайней мере на таком абсурде, который в своем обнаженном виде никак не может быть принят хотя бы и не слишком могучим человеческим разумом, но должен быть облечен в форму признания избранничества или потусторонней предопределенности.

Чем является божественное право дворянства, королей, династий, как не верой в то, что некое сверхъестественное начало вознесло этих людей на недостижимую высоту и облекло их миссией пасти народы жезлом железным?

Ошибка здесь преимущественно в том, что люди отчуждают от себя субстанцию чудесного, понимая ее как некий факт. Убеденность в божественном происхождении возможна лишь тогда, когда люди смешивают сложные, но вполне естественные причины и констелляции фактов с тем, что уже не есть факт, но его содержание и значение. Ведь если бы плебсу удалось втолковать, что римские цезари происходят от особой породы человекообразных обезьян, живших в более благоприятных условиях, раньше развивших способность манипулировать орудиями, имевших более высокий рост, стройную осанку, в то время как простой римский народ произошел от низкорослых, грязных, тупых созданий, то психологический результат, пожалуй, был бы даже больше, чем когда пытались внедрить веру в происхождение цезарей от богини Венеры.

Но может быть такие суеверные понятия встречаются только в неразвитом обществе, не доцивилизовавшемся до нашего просвещенного уровня? Нет! Общество, в котором положение индивидуума определяется случайностями его рождения, пронизано ирра-

циональностью и как таковое абсурдно с точки зрения общества, в котором положение индивидуума определяется достигнутым им в той или иной области личным успехом. Но во-первых, и в обществе, ориентированном на успех, будущее человека во многом определяется случайностями его рождения. Во-вторых, и это главное, поклонение успеху столь же иррационально, сколь и поклонение случайностям рождения. Если человеку все благоприятствует, если в этом столь трудном для жизни мире он имеет спешествование во всех своих делах, особенно же если он при этом не выделяется сам по себе среди ему подобных, нет ли в этом чего-то от чуда? А если наоборот — разве не чудесна судьба Иова не только в своем конце, когда он получил вознаграждение, но и во всем нагромождении бедствий? Но это крайние случаи.

Современный человек располагает многими средствами для предотвращения природных бедствий, которых не было в прошлой истории. Зато есть много бедствий, которых раньше не было, и много новых угроз для личности. Я как будто могу и не рассматривать их подробно, но, повидимому, ясно, что жизнь отдельного человека сейчас не меньше зависит от иррациональных факторов, чем это имело место в любую из предшествовавших эпох. Начиная с самого рождения, места и времени для которого мы не выбираем, через непрестанную зависимость от ситуации, встреч, отношений с высшими и низшими, поворотов событий и везения, мы следуем по тем же непредсказуемым, лишенным рационального единства путям, на которых нас так же может встретить любая неожиданность, как это было три тысячи лет назад.

Поэтому **никакой** разницы в суждение о чуде не вносят изменившиеся условия существования человека. Гипноз очевидности может и должен быть отброшен сейчас, так же как и раньше, и может быть, в этом сейчас больше всего необходимости. Как писал Лев Шестов, «в обетованную землю может придти только тот, кто, как Авраам, решил идти, сам не зная, куда он идет».

Если мы возьмем человечество в целом, то оно, безусловно, следует этому совету и не знает, куда идет. Оно и правда «может придти в обетованную землю», а может и не придти. Или же тот способ, которым оно туда доберется, нельзя охарактеризовать словом «прийти». И когда человек остается наедине с этим вопросом, он видит, что исход зависит от него. Но **знать** — он этого не знает. Он только верит в это, как в чудо.

Притом непрерывно совершающееся чудо. Возьмем все предсказания на будущее, какие сейчас делаются, прогнозы и анти-

ципации. Как бы они ни различались в деталях, в их основе лежит убеждение, что тяга человека к исследованию и изобретению, «фаустовский порыв», никогда не иссякнет. Так ли это? Если так, то это чудо — такое же чудо, какое является непреходящим, категорическим (категориальным) условием всей нашей жизни.

Если мы обратимся к судьбам отдельных народов, то увидим прежде всего первейшее, непостижимое чудо: что они были таковы, каковы были. Интуитивное созерцание истории дает впечатление такой пестроты и богатства, что трудно представить себе, чтобы это все было произведено естественными причинами.

Однако же, это только начальное, так сказать, природное чудо; настоящие полные глубокого значения чудеса происходят с народами только тогда, когда они в них верят. Чем отличался еврейский народ от своих канувших ныне в вечность соседей по древней Палестине, если не верой в чудо своей избранности? Чем была бы сейчас Америка, если бы не вера ее пуританских предков в возвышенность их дела? Такая вера была и у римлян, и у китайцев, и у русских; ее напряжение вело нации к расцвету, иногда даже несмотря на огромные препятствия; с ее ослаблением и профанацией они гибли. Все они имели бесконечно разные судьбы, но эта сторона была общей. Хотя причины, по которым они верили в свое чудо, были разные — совершенно так, как это бывает и у отдельных людей. И в таких случаях, когда народ проносит (в лице своих высших представителей, пророков) сквозь историю, несмотря на все превратности и величайшие бедствия, сознание своей миссии и вновь и вновь воскресает из пепла, мы можем постичь чудо его **сверхпризвания**.

Но окончательное совершение исторических чудес, их раскрытие и оправдание — в будущем. И там же великое чудо слияния истории с природой, великий горизонт, к которому история приближается при всей своей неподвижности и который предчувствует при всей своей бессознательности.

Не самообольщение ли это? Как легко человеку поверить в то, что ему хотелось бы, чтобы было! Как он хватается за малейшее благоприятное совпадение и отвергает самую убедительную цепь событий, если она говорит против желаемого! Вот с этой психологической стороны мы и должны сейчас взглянуть на чудо.

5. — ЧУДО И БЕЗУМИЕ: ЖИЗНЬ КАК СОН

Первое и основное, что следует категорически утверждать, это что чудо не имеет ничего общего с **безумием**: чудо это не то, что чудится, а то, что есть, и если бы оно имело лишь призрачное существование, оно не было бы чудом.

И чудо — это не колдовство, не заклинание. Можно верить в колдовство и во что угодно, но это по существу мало будет отличаться от воззрений или заблуждений какой-нибудь научной школы. Есть ли телепатия или нет, может ли человек различать цвета пальцами или отыскивать воду с помощью ивового прута — все это проверяется экспериментально. Пусть проверка не проведена, но когда-нибудь она может быть проведена. То же самое и со всяким колдовством и оккультизмом. Конечно, есть многое, чего мы еще не знаем; но еще больше есть возможностей спекулировать на этом и выдавать фокусы за чудеса, навязывать суеверному человеку сверхъестественные жертвы помимо тех естественных, которые он так или иначе приносит, заменять мир нашего отчаяния другим, еще более жутким. Когда древние индейцы майя хотели вызвать дождь, они приносили в жертву девушку — разрубали ей грудь каменным топором и бросали в священный пруд. В таких прудах находят сотни скелетов. Пример моральной высоты и четкого понимания причинных закономерностей.

Чудо дает надежду, а не отнимает ее. Поэтому при восприятии чуда мы не можем всецело полагаться на собственный произвол или настроение, но должны иметь критерии. Как далеко можно зайти на этом пути? Наши критерии могут быть неприменимы, и многое неизвестно.

Здесь-то и начинается подлинное, неизбежное безумие чуда. Оно может быть, поскольку оно есть, и все-таки не может быть, потому что оно есть чудо. Все, что мы встречаем в жизни, сначала возможно, а затем действительно. Или же оно сначала возможно, а затем недействительно; или же сначала невозможно и затем недействительно. Но последнему, четвертому варианту — сначала невозможно, а затем действительно — противится что-то в глубине нашей души; хотя рационально этого противления обосновать нельзя: всякое обоснование явно или скрыто будет опираться на то, что нет никаких вариантов, кроме первых трех.

Но речь не о доказательствах. Мы стоим как раз на почве четвертого варианта. И для того, чтобы мы могли жить, невозможное в **каком-то смысле** должно стать возможным.

Если мы хотим проверить чудо, то это должна быть странная проверка. Прежде всего, это проверка на невозможность: мы должны убедиться, что то, с чем мы имеем дело, невозможно. Если окажется намек не то что на возможность, но хотя бы на возможность возможности, то это не чудо. Так, например, исцеление, которое может быть объяснено внушением или какими-нибудь невидимыми волнами или полями, является чудом не в большей степени, чем исцеление симулянта. Хотя отсюда не следует, что мы отрицаем медицинскую ценность, скажем, внушения.

Коренное заблуждение магического или колдовского толкования чуда заключается в том, что оно переводит вопрос в другую, привычную плоскость. Колдун может наколдовать так же, как конструктор может создать машину. Разница может быть в том, насколько то или другое получится, но не в том, что то или другое выводит нас за пределы нашего мира. Чудо — невозможно; но вторая часть его проверки — проверка на действительность.

Впрочем, если я не буду проверять чудо, оно не перестанет быть чудом для меня, если я верю в него как в таковое. Только я не ставлю в этом случае цели убедить других. Это не значит, что я и не смогу их убедить; однако, это будет убеждение другого порядка, нежели убеждение доказательствами. Если я абсолютно неопровержимо докажу чудо, это будет столь же опасно для него, как если бы я доказал естественность произошедшего факта.

Потому что неопровержимое доказательство факта, хотя бы я не знал, как этот факт получился, всегда несет в себе нечто от естествознания. Разве что будет доказано, что факт совершился, и столь же неопровержимо доказано, что он не мог совершиться. Но и в этом случае, мне кажется, осталось бы какое-то подозрение. Вся эта четкость, разложимость по полочкам, определенность — принадлежность нашего мира, причем не жизненного мира, а мира науки. Как раз по этим принципам замкнутая схема научного мира и отбрасывается из богатой материи жизненного мира.

Вспомним, с другой стороны, о дотошности, с которой производится канонизация, о назначении «адвокатов дьявола», об осмотре мощей, о регистрации видений и случаев исцеления. Ясно, что все это нужно для общезначимости, для распознавания подделок и фабрикаций. Но все это делается уже потом, чтобы кого-то убедить. Что значат для меня все чудесные события на свете, если я сам их не пережил? Не больше, чем волшебные сказки или мертвые и наводящие тоску протоколы. Но проникаясь чудом и

вдыхая его атмосферу, я сам становлюсь очевидцем. Больше того: я ощущаю, что я был воскрешен вместе с Лазарем, или чудесно избавлен от смерти вместе с Исааком. Чудо не может умереть.

Всякий смысл жизни, если он вообще может существовать, есть чудо. Вне чуда есть только естественное сцепление событий, самое понятие которого исключает «смысл». Но стремление — пусть безумное, или скорее кажущееся таковым в периоды духовного затмения — к тому, что выше этой жизни, заставляет и на нее взглянуть по-новому. Если навязчивая очевидность не есть окончательная инстанция, она уже не есть очевидность, от нее можно пробудиться. И зыбкость, гиблемость всех вещей этого мира есть явное свидетельство неоконченности, сомнительности их существования.

Предметы, которые суть только знамения, только мгновенные обнаружения сущностей, исчезают, даже самые величественные из них, как актеры в пьесе, которую показывает Ариель в «Буре» Шекспира. Эти актеры

«...были духи

И в воздухе растаяли, как дым.
Вот так, как это легкое виденье,
Так точно пышные дворцы и замки
И самый шар земной когда-нибудь
Исчезнут и, как облачко, растают.
Мы сами созданы из сновидений,
И эту нашу маленькую жизнь
Сон окружает...».

Однако, во сне человек как-то обнаруживает свои сокровенные желания, ядро своей личности. Он действует в мире иногда кошмарном, иногда идиллическом, но порожденном его собственным духом в его попытке усвоить, «отреагировать» дневные влияния. «Наяву» же мы действуем почти что как куклы, как игрушки обстоятельств, и мертвая внешняя природа навязывает нам свое существование и свою волю.

Поэтому сон имеет больше шансов оказаться явью и действительностью человеческой свободы, чем явь. Но все же в нем слишком много от яви. Во сне мы еще меньше, чем наяву, чувствуем реальность происходящего; это особенно заметно, если мы сравним воспоминание о сне и воспоминание о яви.

Настоящее пробуждение приносит с собой только чудо. Хотя и оно, подобно молнии, только освещает и подчеркивает серый туман существования.

Мы получили бытие, чтобы благоденствовать, сказал Григорий Богослов. Действительно, если взять самое понятие бытия, а бытие есть чудо, как мы уже говорили, то мы не можем не принести в него нечто от положительной оценки.

И все же никакого благоденствия нет. Есть зло, и сомневаться в том, что оно есть, невозможно. Зло, несовместимое с бытием и тем не менее сосуществующее с ним — его можно было бы назвать чудом, если бы оно не было злом. Оно есть античудо, имеющее в себе все признаки чуда, но не его бытие. Поэтому никакое рациональное оправдание зла, будь оно теоретическое (теодицея) или практическое (преобразование мира), не искоренит его. Его можно перевести из одной формы в другую, может быть, даже смягчить. Но победит зло только чудо; и жить можно только при вере в неизбежность этого чуда.

Существование зла есть самое точное доказательство того, что жизнь есть сон. Наяву таких вещей, какие происходят, быть не может. Из этого, казалось бы, следует призрачность и зла. Но призрачность — понятие относительное, и добро есть принадлежность того же сна, что и зло. Чаше исчезает и «тает, как легкое виденье» именно добро. Это уже наше право верить, что несмотря на это, субстанциональность именно в нем, а не во зле. Впрочем, у добра то преимущество, что оно совместимо с собой, в то время как зло непрестанно обращается само на себя, и разные его виды истребляют друг друга.

Чудо есть вечное «нет» злу, и миру, им проникнутому, и нам самим, поскольку мы цепляемся за зло этого мира, любим его и тем становимся друзьями своему же врагу. Но врага этим не купишь; он идет на эту дружбу только затем, чтобы вернее погубить своих «друзей». — Общая гибель, одним раньше, другим позже, — что может быть естественнее, логичнее в этом мире? А мы живем только надеждой — значит, только чудом.

Подумать так — значит начать новую жизнь, жизнь, которая вся есть только начало и никогда — конец. Это жизнь, которая не изменит, если мы сами ее не предадим, это выбор наших чудес, тех, которые существуют именно в мою меру и для меня.

Верить в чудеса не значит доверять всяким рассказам о чудесах. Вера в чудеса начинается с первого чуда внутреннего возрождения, чуда, которое я **делаю** сам столь же, сколь оно **делается** со мной.

Потом, когда я узнал о том чуде, что несмотря ни на что, Бог есть, я могу обратить свое внимание и на меньшие чудеса. Они суть осколки, раздробленные отражения этого основного чуда.

Уже те естественные чудеса, о которых мы говорили, вроде бытия материи или сознания, суть пример того, что чудо не есть чудо для всех. Ведь человек может не воспринимать их как чудеса (что, впрочем, нельзя смешивать с тем, как он их называет — чудесами или нет. Он может их не называть чудесами, но воспринимать сверхъестественно, или же наоборот).

Тем более чудеса как факты. Каждое из них расширяет нашу действительность, и расширенная действительность уже не есть то же, что была, но — та же плюс чудо. При этом появляются новые соотношения и моральный смысл. Наше собственное существование изменяется вместе с изменением действительности. Поэтому, избирая чудо, мы избираем свое существование.

Количество чудес абсолютно не имеет никакого значения. Я могу смотреть на свою жизнь как на непрерывно совершающееся чудо, правда, в этом случае мне грозит опасность упразднить в ней самое чудесное. И я могу жить верой в некое единственное чудо, скажем: воплощение. У меня нет поползновения давать здесь советы. Но бережное, **душевное** отношение к чудесам, сохранение подобающего перед тайной молчания — вот что отделяет углубленную, понимающую веру от суеверия, готового присоединиться к любой бессмыслице и фанатизму, чтобы посрамить разум.

Может ли человек верить в свою жизнь, в то, что святое для него наименовано таким не по произволу, а по своей сущности, по связи с пребывающим и остающимся? Вопрос в значительной мере риторический. Конечно, человек может и не верить в такие вещи — в том случае, если он верит в естественный порядок вещей, согласно которому его ценности не переживут его самого. И он может в них верить, если для него невыносимо признать их разрушимость.

Но вот что особенно любопытно: в какой-то степени человек **не может не верить** в вечность своих ценностей. Во всяком цен-

ностном деянии человека присутствует эта вера, только уловить ее бывает не легче, чем схватить момент, когда ты засыпаешь, или отделить эстетическое ощущение пейзажа от физического восприятия этого пейзажа как игры света. Строит ли человек себе дом, учит ли иностранный язык, собирает ли коллекцию, воспитывает ли детей, создает ли научную теорию — если его спросить, зачем он это делает, он, конечно, ответит, что имеет в виду некую переходящую цель, с отпадением которой обесмыслится и его деяние. Однако, когда он действует, он забывает это, и им руководит гораздо более могучий инстинкт, без которого ничего не было бы создано на земле.

А вдруг право не рассуждение, а этот инстинкт? Это было бы чудо, про которое мало сказать, что мы не можем без него жить. Это чудо, которое есть сама жизнь. Мы можем стать на точку зрения, ее отрицающую, но мы можем усилием воли и веры подняться над этой точкой зрения и посмеяться над всей изобретенной нами же, приснившейся нам действительностью. В истинной действительности мы живы и — надо договаривать до конца — останемся живы.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Можно смеяться над действительностью, но не в глаза ей. В конце концов, если она или что-то в ней и приснилось нам, то избавиться от этого кошмара мы не вольны. Мы должны пережить его до конца, каково бы ни было метафизическое обоснование этого. Конец же мы предвидим впереди с уверенностью, которая превышает любую возможную индуктивную доказательность. Я хочу сказать, что эта уверенность нам прирождена. Человек не может встретиться с достаточным количеством фактов естественной смерти, чтобы вывести из них стопроцентную очевидность его собственной смерти, и ему неизвестна в достаточной мере сложная химическая картина смерти, но человек в здравом уме не может сомневаться в том, что он умрет.

И вновь в отчаянии невозможности человек обращается к чуду. Чем больше невозможность, тем больше чудо. Если мы знаем о тождественности человека и Сущего, не следует ли отсюда бессмертие человека? Опять мы видим, как все, что требуется инстинктом чуда, оказывается одним и тем же: видим, что мир чуда столь же, если не более, сцеплен и един внутри себя, как и навязываемый нам механизм естественной действительности.

Понятие о зле неразрывно в уме человека с понятием о возмездии. Мне неизвестно подробное исследование, специально по-

священное вопросу о развитии возмездия с древнейших времен человечества, но его вполне можно было бы написать, чтобы разъяснить такие феноменологически необходимые структуры общества, как право и закон, суд и мораль. Зло, конечно, все равно существует, но мысль о его безнаказанности бывает иногда столь же невыносима, как и мысль о бесполезности добра.

Правда, бывают поступки, которым нет вообще никакого оправдания, и роковой закон требует, чтобы они сопровождали человека всю его жизнь. Таково было для Наполеона убийство герцога Энгиенского, без которого он вполне мог бы обойтись. Таким же образом никому не удавалось оправдать геноцид, и когда Гитлер стал его проводить, он пользовался кажущейся полной безнаказанностью, но в критический для него момент его режим оказался абсолютным злом, с которым даже вести переговоры значило бы безнадежно себя скомпрометировать; и он погиб жалким образом, конечно без мук совести, но, возможно, все-таки смутно чувствуя логику возмездия.

Далеко не всегда это так. Человек может быть повинен в смерти миллионов, направить всю свою жизнь на истребление вокруг себя малейших следов человеческого достоинства и тем не менее скончаться в почете и среди общего траура.

Сколько в этом насмешки над так называемыми человеческими ценностями! Иногда трудно бывает отделаться от мысли, что эта насмешка действительно есть сознательная насмешка какого-то сверхчеловеческого, но злобного существа, до того все складывается рационально в смысле непрестанного усиления зла. Разумеется, эта интуиция не есть доказательство.

Зло оставляет после себя не только немедленные последствия в виде страдания и дальнейшего расползания зла. Самый факт причиненного зла вызывает к отмщению, пусть не сейчас, хотя бы в будущей жизни. Однако, если мы даже твердо уверены в загробном воздаянии, оно не заменит возмездия здесь; больше того, оно вряд ли может вообще дать нам удовлетворение.

Часто ли бывает у цивилизованных народов, чтобы кто-нибудь дал в долг с условием получить обратно на том свете? Так и здесь. Зло причинено **здесь**, и здесь же мы знаем, что оно есть зло. Там, в более реальном мире, зло должно обнаружить свою ничтожность, там должны быть другие занятия, нежели борьба со злом.

Зло позабытое
Тонет в крови,

Всходит омытое
Солнце любви.

Здесь же, в окружающем нас кошмаре, мы обречены на борьбу со злом. Борьба эта ужасна тем, что зло не только вне, но и внутри нас. Когда человек или народ борется с внешним злом, он должен проверять и себя, нет ли в нем этого зла, и тогда эта борьба будет несомненно справедливой и очищающей для него самого.

Таким образом, предполагаемое воздаяние в загробной жизни не может служить компенсацией за зло в этой. Но это не упраздняет воздаяния, и веры в него, а лишь придает ему иной, более спокойный оттенок. Зло должно быть искоренено **здесь**, и все силы должны быть направлены на это. А когда откроется всякая правда и всякая неправда, искоренятся и те семена зла, которые дают ему существовать **сейчас**, и оно изгладится даже **из прошедшего**. Ибо прошедшее существует лишь постольку, поскольку о нем помнит — кто?

Да, вот это главное. Снова и снова выступает единство действительности чуда, мира свободы, противопоставляемого не знающему себя, нависающему подобно скале привычному «миру сему». Воистину нет компромисса между этими двумя мирами! Потому Христос и есть «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие», что царство его не от мира сего.

Лазарь **четыре дня** пролежал в могиле. Когда Достоевский вывел как идеального героя князя Мышкина, который «буквально верует» в воскресение Лазаря, это было потрясение. Не то чтобы раньше в него не веровали, нет, это было в православном вероучении. Но тут чудо изъятия человека от власти смерти было извлечено из массы других чудесных рассказов, усмотрено в расправленном виде и внесено в самую гущу тогдашнего «современного сознания», предоставляя ему выбор: или остаться собой и отказаться от всякой надежды, а значит и от «сознания», или... отказаться от себя. И не всеми этот вызов остался незамеченным. Вспомним не только Вл. Соловьева и Н. Федорова, но и таких далеких от этой области людей, как Циолковский или Вернадский: углубляя **космизм** как мировоззрение, они должны были прийти до требования не только надежды, но и **полной уверенности**.

Но о «чудесах науки» мы уже говорили. Даже решение таких проблем, которые вполне могут быть сформулированы языком

науки, как машинный перевод или излечение от рака, представляется трудно достижимым идеалом. Воскрешение же предков, требуемое Н. Федоровым, остается далеко за горизонтом науки, сколько бы журналисты ни жонглировали понятиями информации и обратной связи.

Поэтому если здесь мыслима уверенность, то не та, которую дает служба погоды, и даже не та, которую мы черпаем из математических формул и небесной механики. Человек бессмертен не как констелляция молекулярных центров и полей (вряд ли кому-нибудь нужно бессмертие тела именно **в этом** смысле), но только в своей истине.

«Чем же и мир стоит — правдой и совестью только и держится», говорит праведный царь Берендей у А. Островского. Как не задуматься, так ли это? По всей очевидности, не так, господствует, наоборот, неправда, никто не обращает внимания на совесть, благо других и даже простую учтивость. Верить не в эти джунгли, а в какой-то нравственный миропорядок, значит верить в чудо. Я уже говорил о близости морали к чуду. И, однако, это чудо есть, и на нем держится мир! И самое «стояние» мира на этом чуде есть еще одно чудо, потому что «разум» подсказывает нам, что мир вполне мог бы существовать без всякого добра, на одном взаимном обмане.

Но такова потребность человека в чудесном, что ему мало этих несомненных и почти «естественных» чудес, и требуется еще одно: чтобы его правда пережила его похороны, и не в безликом виде учения или добрых дел, но в его собственном духе. Человек вживается в дела своего духа, в творчество, в радость созерцания и любви; неужели ему будет отказано в сохранении всего этого? Но с другой стороны, ведь человек вживается и в скупость, в эгоизм, в честолюбие; неужели и это должно быть сохранено? Ясно, что одной потребности человека в бессмертии мало не только для бессмертия, но и для того, чтобы сделать бессмертие мыслимым.

Прежде веры в бессмертие должна быть вера в то, что истина может быть отделена от лжи. Некоторая неухищренность, прозрачность души необходима для такой веры. Бессмертие же человека есть наиболее для него внутреннее и интимное, что не может быть ему навязано или наложено на него; но оно не может быть и создано им самим, потому что у него нет для этого сил.

Отсюда мы видим, что должно существовать такое деяние, на которое у человека **всегда есть** силы и которое связывает его

с источником бессмертия. Это деяние есть молитва, и она также — наиболее внутреннее и интимное.

Постичь молитву как чудо нет другого пути, кроме самой молитвы. Всякое чудо есть разговор, который человек ведет с Сущим, а потому всякое чудо есть молитва.

Нет большей лжи, чем изображать молитву чем-то противоположным действию. В молитве я стою один на один с Тем, Кто дает силу всякому действию. Именно эта внутренность, субъективность молитвы делает ее чем-то сугубо **моим**, так что понятие «чужой молитвы», строго говоря, противоречиво. Я, конечно, могу догадываться, что другой человек молится, но что с ним при этом происходит, я могу знать столь же мало, сколь мало я вообще знаю о сокровеннейших глубинах его духа. Или если я знаю это, то это уже не «чужая молитва» для меня, и мы с ним одно.

Субъективность, присущая молитве, есть и во всяком человеческом действии. Это сторона его высшей осмысленности, того, насколько человек понимает, что предпринимаемое им действие согласно с его судьбой. Конечно, он может понимать это весьма слабо.

Но молитва как бы фокусирует всю субъективность человеческой деятельности. Тем самым она, с одной стороны, выделяет все ее реальное, внешнее содержание как таковое, дает осознать эту деятельность как отличную от всякой другой и далее как направленную на должную цель. Так человек узнает, чего он хочет.

С другой стороны, молитва собирает воедино все субъективное, все чисто желательное в деятельности, и желательное исправляется таким образом, чтобы оно не было всего лишь желательным данного индивидуума, но развивалось в одном ритме с его судьбой и жизненным предназначением. Так сохраняется внутренняя сила и целостность человека, которые иначе легко теряются в многообразии его занятий и работ.

Самым фактом молитвы человек отвечает на вопрос: можно ли жить чудом? Да, можно, а иначе — нельзя. Тревога наших дней напоминает об этом. Мы не можем просто выжить. Мы можем выжить только как люди. Никогда не было таких надежд, как сейчас. Надо иметь такую надежду, чтобы она могла смыть не только мелочность неудач, но и катастрофу.

ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ НА ЗАПАДЕ

Памяти Франсуа Мориака

(1885 — † 1-IX-1970)

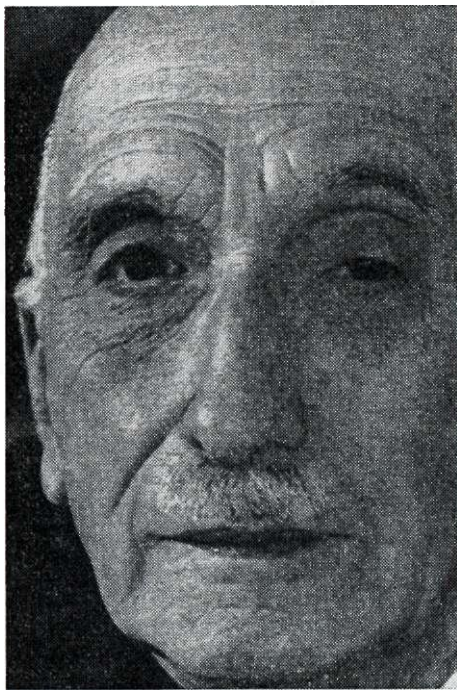
1 сентября, одновременно с известием о смерти Мориака, мы услышали по радио его голос, говоривший о последнем часе. Это была запись, сделанная несколько лет назад, но в это утро она звучала с особой силой. Предсмертный час (*le dernier quart d'heure*)... То, чего он так долго ждал, то, над чем так много размышлял, сбылось. И где-то, между землей и небом, его хриплый, замогильный голос вещал оставшимся в живых: «...Обыкновенно упрекают смерть, что мысль о ней отравляет нам дни нашей жизни, а я обвиняю жизнь, что она мешает нам думать о самом главном, о том часе, когда Бог придет за нашей душой...».

«Я обвиняю жизнь». Мориак был ею избалован: он был богат талантом, почестями, деньгами, днями. Все, казалось бы, отвлекало его от самого главного, от Царствия, что не от мира сего, о котором он неустанно твердил, вопреки всему... В последние годы противоречие между «пышностью», «мишурою» света и евангельским законом стало сглаживаться. Жизнь уходила, уже не так мешала.

...Я познакомился с ним в 1964 году, в связи с образованием экуменического комитета, поставившего себе целью обратить внимание общественности на преследования Церкви в Советской России. Я должен был объяснить ему неотложность этого начинания. Не скрою, что я робел перед встречей. Страх мой оказался напрасным. С первых же слов контакт установился: разговор был непринужденный. Мориак не давил собеседника, не монологировал, а, как романист, умел наблюдать и выслушивать. К концу беседы он щедро мне предложил обращаться к нему когда угодно.

Внешний его облик производил большое впечатление. Высокий, стройный, худой, весь какой-то изящный, Мориак поражал своей подвижностью, неутомимостью, молодостью. Красивое лицо

было значительно своей неправильностью: длинный нос с горбинкой, прищур левого глаза, несколько лукавая улыбка широкого рта. Хриплый голос придавал особую серьезность всем его словам. Чем-то он мне напоминал Бунина: то же барство, та же красивость, культивированье внешнего эффекта, щеголеватость. Но Бунин был неподвижно скульптурен, а Мориак весь в движении, напоминал скорее очертание, эскиз.



Франсуа Мориак

Мориак согласился возглавить Комитет с большой готовностью. Он приходил на его рабочие собрания, воспротивился удалению из Комитета православных членов, и с большой твердостью напоминал о необходимости протянуть руку помощи христианам в России.

Читателям «Вестника» хорошо известна блестящая речь, произнесенная им на большом собрании, устроенном Комитетом.

К России, к святой Руси (он любил употреблять это, многим ненавистное словосочетание) у Мориака была особая нежность.

Толстой и Достоевский были ему с самой молодости ближе чем французские писатели — более сухие... Позже он прочел Чехова, Бердяева, Пастернака, «Реквием» Ахматовой и уже совсем недавно Солженицына. Одним из последних выступлений в его жизни была поддержка кандидатуры Солженицына на Нобелевскую премию.

Франция, Россия, тупики индустриальной культуры, жизнь, смерть, религия — таковы были темы наших бесед. Не буду их передавать подробно: обо всем этом Мориак неоднократно писал в своем дневнике. Главное к чему он возвращался, была вера в Бога, в Церковь, в силу сакраментальной жизни. Он ежедневно приобщался Святых Тайн за ранней литургией в соседнем, бенедиктинском монастыре. «В старости, когда перестаешь грешить, — говорил он мне, — я имею в виду большие, смертные грехи, это ежедневное общение с Господом, так легко дается и так поддерживает».

На современный Запад, на католическую Церковь, соблазнившуюся миром сим, он возлагал мало надежд. И все чаще и чаще он обращал свой взор к христианам в России. Помощь, которую он им оказал, была отчасти ими оплачена: неугасимый огонь веры, сияющий в России, поддерживал и подбодрял Мориака в последние, может быть, самые трудные годы и месяцы его жизни.

Никита Струве.

БЕСЕДА С ФРАНСУА МОРИАКОМ *)

Журналист от «Экспресса»:

— Какое чувство в Вас теперь преобладает?

Ф. М. — Ожидание. Я из тех, кто бдит ночью. А кто бдит, тот знает, что времени нет пределов. Видите ли, существует большая разница между старостью — длинным периодом жизни и преклонным возрастом. Старость — мне так теперь кажется — нечто вполне нормальное. В основном она не отличается от жизни. Это просто замедленная жизнь, вот и все. Тогда как преклонный возраст — состояние особое. Вы отрезаны от жизни, отделены от других людей. Для меня существуют стены этой комнаты, вон то окно, несколько человек вокруг меня, телевидение, когда я не слишком устал вечером, и книги. Но я читаю теперь меньше, чем когда-то читал. До меня почти не доходят «шумы города». Я теперь по-настоящему лицом к лицу с единственной действительностью. Я живу в ожидании определенного часа.

«Э.». — Вы всю свою жизнь думали о смерти...

Ф. М. — Во всяком случае я о ней говорил. Потому что я — христианин. Но в самом деле я о ней не думал. В сущности, никому нет никакого дела до смерти. Ведь смерть всегда — чужая, похороны — чужие; погребальные колокола никогда не звонят для вас. Помню, когда я учился в пансионе — это бывало несколько раз, но недолго — мы каждый вечер читали молитву Пресвятой Богородице. Была строчка, которая меня удивляла: «Предстань мне в последний час исхода души моей». Я не понимал, как это в одной человеческой жизни может быть несколько «часов исхода души». Но раз молитва говорила об этом... Сегодня же я знаю, что в молитве было неправильно. Час исхода души один у каждого человека; а мой еще не начался.

«Э.». — Испытываете ли Вы страх?

Ф. М. — Нет. Приближение смерти не внушает страха. Это просто конец одной истории. Конец моей истории. Та — другая — продолжается. На всех парах. Иногда мне еще слышен приглушенный расстоянием грохот ее галопа. Но это шум, на котором уже не останавливается мое внимание. Впрочем, прислушивался

*) Эта одна из последних бесед с Ф. Мориаком была напечатана в «Экспресс», от 4 мая 1970 г. Печатается с сокращениями.

ли я к нему когда-либо? В сущности, мы всегда говорим только о себе...

По правде говоря, я колебался между крайним вниманием и крайним отчуждением. Я не жалею об этом немного странном отношении. Сожаления тщетны. Наоборот. Я всю жизнь прожил в кулисах собственной жизни и недоумеваю перед тем, чем была эта жизнь. И как я мог с такими убогими средствами столько сказать... Тогда как у меня склад ума не философский — а в то время всяк философствовал, тогда как физической силы у меня не было — а в то время надо было прыгать, бегать, заниматься спортом, тогда как у меня лишь ограниченные знания — а в то время всяк утверждал, что все знает. Если добавить мою абсолютную неспособность к языкам, вы уже не подумаете, что мое недоумение перед своей жизнью может быть притворным.

«Э.». — Не кажется ли Вам, что кто-то говорил Вашими устами?

Ф. М. — Нет. Никто. Был только я один. Мое счастье в том, что я умею писать. Многие люди моего поколения этим даром и спаслись. Я питал страстный интерес к словам и этот интерес никогда, кажется, меня не покидал. Я носил в себе мирок — каждый человек носит в себе мир — и любил писать; этого было достаточно, чтобы я предпринял нечто вроде поисков всеобщей правды. Я повторял это всю свою жизнь: детство свое я прожил в невероятном обществе. В том краю в Ландах, где протекало мое детство, 1789-ый год был фактически неизвестен. Я человек Старого Режима, заблудившийся в эпохе реактивных самолетов.

«Э.». — Однако, Вы всю жизнь высказывали свое мнение... Против «Action Française», за движение «Sillon», против Петена и за де Голля во время войны, против политического правосудия в 1945 г.; против колониальных войн после неудачи в Марокко. На каком основании Вы могли решить, что Вы человек Старого Режима?

Ф. М. — Это вероятно было сопротивление моей среде. Это модное словечко, которое уже ничего не значит, но я, кажется, «оспаривал» (1). Потому что меня возмущала моя среда. Или точнее разница между провозглашаемыми ею принципами и ежедневным поведением.

(1) Мориак употребляет слово «contester» (N.D.T.).

«Э.». — Кто из писателей больше всего повлиял на Вас?

Ф. М. — Не знаю. Их было столько. Конечно Баррес. Не тот Баррес, который воспевал национализм, а тот, который раздумывал над собой. Затем Жид, наконец Пруст. Между ними есть связь. Каждый из них из самого себя создал целый мир. А ведь правда, что каждый из нас представляет целый мир.

«Э.». — По мере того, как протекала Ваша жизнь, Вы видели, как вырождается во Франции литература, как она дошла до теперешнего положения — то-есть, по всей вероятности, до небытия. Чувствовали ли Вы постепенность этого явления?

Ф. М. — Да, было невозможно не понять, в чем дело. Литературой овладела философия. Я вам скажу очень просто: когда не желают говорить языком общепонятным, литература перестает существовать. Существуют мысли, системы, которые в столкновениях пользуются словами, страстями. Когда удастся гениальному писателю из всего этого создать песнь, это подчас бывает превосходно. Это и есть эпопея Мальро — в сущности, всего его поколения. С ним литература блеснула в последний раз. Потом уже ничего не было возможно. Возьмите Камю. Ему не удалось стать ни романистом ни философом. Он остался на полпути. И вероятно, не мог иначе поступить.

Меня поражает в наше время, что молодежи, мне так кажется, не очень хочется разбираться в собственной жизни. Они погружаются в угрюмое настроение, затем жадно впивают то, что кричит им первый попавшийся человек. Мы в свое время были не так быстры, быть-может нас не так одолевала тоска, но путем литературы старались выяснить, какой может быть наша жизнь. Я отнюдь не отчаиваюсь. Существуют циклы. Из теперешней сумятицы в конце концов что-нибудь да выйдет. Но я этого не увижу.

«Э.». — Жалуете ли Вы, что поддерживали де Голля?

Ф. М. — Меньше, чем когда-либо. В этом я уверен, что не ошибался. Впрочем, кто же еще спорит? Не я сужу: судит весь мир, то-есть как бы первое выражение Истории. Важность его никем не оспаривается.

«Э.». — Вам никогда не казалось, что в нем было нечто, что можно назвать манией величия?

Ф. М. — Вы ошибаетесь, или вам изменяет память. В глазах де Голля его особа была лишь одним из возможных способов для достижения своей цели. Он в 1944 году понял таинственное уважение, накопившееся вокруг его голоса, его лица. А в то время не было ничего. Шуточное правительство, оперсточная армия, страна, распавшаяся на куски, растерзанная междоусобицей. Он был один, совершенно один. Поверьте, я помню. Тогда он пустил в ход «чочковтирательство». Он бросил свое имя Союзникам, чтобы страна его получила свое место у стола мирных переговоров, Ф.Т.Р. (2), чтобы вырвать оружие из их рук. То, что вы считаете манией величия, в самом деле было единственным способом, которым распоряжался человек, у которого ничего не было.

«Э.». — Кто-то о нем сказал, что он романтик...

Ф. М. — Не думаю. Он писатель, великий писатель. Это может быть даже самое великое в нем. Но он не романтик. Конечно, он иногда корчит из себя Шатобриана. И это не лучшее, что он делает. Иногда он прикидывается классиком, но он не классик. Кто он? Кто он? Погодите... Я, кажется, нашел. Он французский моралист, доброго старого покроя. Просто-напросто. Это значит, что он имморалист.

«Э.». — Думаете ли Вы, что такой человек, как г. Жорж Помпиду, может удержать то, что называют наследством генерала де Голля?

Ф. М. — Вот уж год, как генерал де Голль покинул власть. Год, как мы живем в эпохе, о которой некоторые мечтали, называя ее после-де-голлевским периодом. А что случилось? Почти ничего. Как это ни покажется странным, Франция не потеряла, думается мне, того места в мире, которое вернул ей де Голль. Она сохраняет особую роль.

.....

Что же в сущности хотят эти таинственные французы? Быть счастливыми. Вот та ослепительно-яркая истина, которую многие не понимают... Какое счастье, спросите вы? Да самое простое: то, которое открыло французам кино — счастье богатых. Они хотят развлечений, быстрых машин — даже если это значит на той же

(2) Ф.Т.Р. — Francs-Tireurs Partisans — Партизаны и Вольные стрелки (коммунистического направления).

машине убится, — любви — даже если это будет лишь карикатурой любви...

«Э.». — Если то, что Вы говорите — правда, то духовно Франция умирает?

Ф. М. — Не знаю. Я не пророк. Для меня такое счастье не есть счастье. Может ли Франция стать Швейцарией? Вот настоящий вопрос, который я себе сейчас уже задаю. В глубине души я думаю, что нет...

Французы поняли что их славным мечтам пришел конец... Между примирением с мелким повседневым счастьем и тоской по пражному величию они ищут свой путь. — Это и есть задача вашего поколения.

«Э.». — Во всем том, что Вы говорите, слышится какая-то печаль. Думаете ли вы, что наша культура переживает тяжелую болезнь?

Ф. М. — Опять-таки не могу вам ответить. Единственное, что могу сказать: планета, на которой будут жить ваши дети — не та, которую я знал и любил. Это другой мир. Наверно люди привыкнут. Но не я.

Я отлично знаю, что наш мир должен измениться. Я не восстаю. Я просто замечаю, что в моем саду больше нет соловьев...

«Э.». — Остается ли у Вас основание для надежды?

Ф. М. — Христианство. Я об этом писал. Маленькая точка света, которая блесит во мне, может быть блесит из России. После пятидесяти лет воинствующего атеизма, торжествующего материализма коммунизму не удалось в этой огромной стране стереть слов Христа — это невероятное происшествие. И даже больше: христианская вера снова появляется в интеллигенции. Для меня это знамение. В этом опалелом мире, где все в конце концов смешивается, мне кажется, что сам Бог сопротивляется и говорит нам: «Я здесь. Не страшитесь».

«Э.». — Что было самое главное в вашем мире?

Ф. М. — Знаете, я буду повторять вещи, которые уже писал сто раз. Что же я могу поделать? Для меня правда не меняется, поэтому наверно мне теперь как-то не по себе. Главное для меня быть христианином. В то, во что я верил в 20 лет, я все еще верю. А это именно то, что изменилось: правда стала относительной.

Возьмите, например, священника. Это не был человек, которого все любили. Совсем наоборот. Но в нем, каким он был, все признавали знак противоречия. Для одних его одиночество, его призвание предвещали освобождение и непорочность. Для других он был представителем черной Церкви, последних и невыносимых учеников мертвого Бога. А теперь священник мало что представляет. Священники хотят, чтобы их приняли, они хотят слиться с толпой. Они как будто не переносят больше свою роль живого свидетельства о сопротивлении тому единственному, что вызывает возмущение: злу...

«Э.». — Все же Вы допускаете, что Церковь должна измениться?

Ф. М. — Да, должна. Она все время менялась. Но давно на нее так не нападали изнутри. — Очень давно. И от этой борьбы как бы «исполтинка» — я чувствую оскудение. — Как Вам дать это понять? Я лично никогда не страдал от того, что делает несчастными передовых христиан, как говорится. Я всегда принимал Церковь такой, как она есть. «Люблю Париж, включая и его бородавки». Кто это сказал? Так вот, я Церковь так и любил: с ее торжественностью, с роскошью Борджья, с огромными римскими дворцами. Я чувствовал, как и все, насколько вся эта мишура устарела. Но она для меня была знаком неуклонной воли и последовательности в Истории. Нет, не говорите! Конечно, в таком отношении звучит эстетизм. Но мне всегда казалось, что есть известный эстетизм веры. В мое время, переходы в католичество были вызваны «эстетикой». Посмотрите Гюйсманса. У меня есть английская знакомая, которая стала католичкой сорок лет назад, и недавно перешла обратно в англиканство, потому что не переносит теперешней распушенности.

«Э.». — Традиционализм?

Ф. М. — Так я и есть традиционалист, мне не стыдно это говорить. У меня впечатление, что необходим выбор между тем, во что я верил, и тем, во что верят теперешние католики. В моем возрасте этот выбор не из приятных. Тем более, что я со-

всем не уверен что, как говорится, не буду оправдан Историей. Я, например, думаю, что демократизм и жизнь Церкви несовместимы. Никогда христианская истина не вытекала из собраний. Это вполне очевидно. Однако, сейчас об этом снова спорят. Для меня это глупо — это просто мода.

.....

«Э.». — Значит, в будущем нашего мира больше нет для Вас никаких оснований надеяться?

Ф. М. — Нет, есть. То, что происходит в России. Возрождение веры там. В народе и среди интеллигенции. После полувека воинствующего атеизма, мне это кажется величайшим знаменем.

Недавно меня навестил русский писатель, он расспрашивал меня обо всем на свете! Я спрашивал себя, чего же он от меня в сущности ждет. И вдруг я понял. Он хотел посмотреть на христианина, единственного представителя иссякнувшего рода. Он не понимал. И вдруг сказал: «У меня была старая нянька — верующая. Она умерла несколько лет назад...». Он запнулся, потом добавил: «Она была святая...». Тогда не понимать стал я. Как, он, оказывается, знает, что это слово значит? Или вернее, чувствовал ли он, что в ней он встретил одного из тех, в которых живет благодать? Вот, что не дает мне отчаиваться. Потому что в сердцах нескольких снова и снова рождается чувство главного.

А, как хотите, для меня Он есть, и будет ждать нас, как обещал. С миллиардами человеческих существ, которые были и будут, которым Он обещал вечность. Это невероятно. Но именно беспредельность этого пари дает мне предчувствовать беспредельность Бога.

В Нем каждый из нас — как бы особая жизнь, которая продолжается вечно. Для меня это изумительно. Мне очень трудно понять, как это другие достойны бессмертия. Мне это кажется необходимым только для меня.

.....

(Перевод Е. С.).

ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ

~~~~~

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ О. МАНДЕЛЬШТАМА

### Двадцать два непозданных стихотворения

Неизданные стихи О. Мандельштама получены нами из России, где они ходят в списках в среде литературоведов. Все они относятся к раннему, доакмеистическому, периоду творчества поэта и написаны, судя по темам и по стилю, в 1909 или 1910 году. Возможно, что это стихи из недавно найденных и до сих пор не опубликованных писем О. Мандельштама к Вячеславу Иванову, о которых упоминала Ахматова в своих воспоминаниях. (См. «Сочинения», т. II, стр. 169, Нью-Йорк, 1968 г.).

1

Ты улыбаешься кому,  
О путешественник веселый!  
Тебе неведомые доли  
Благословляешь почему?

Никто тебя не проведет  
По зеленеющим долинам,  
И рокотаньем соловьиным  
Никто тебя не позовет, —

Когда, закутанный плащом,  
Не согревающим, но милым,  
К повелевающим светилам  
Смиранным возлетишь лучом.

2

В просторах сумеречной залы  
Почтительная тишина.  
Как в ожидании вина,  
Пустые зыблются кристаллы,

Окровавленными в лучах  
Вытягивая безнадежно  
Уста, открывшиеся нежно  
На целомудренных стеблях:

Смотрите: мы упоены  
Вином, которого не влили.  
Что может быть слабее лилий  
И сладостнее тишины?

3

В холодных переливах лир  
Какая замирает осень!  
Как сладостен и как несносен  
Ее золотострунный клир!

Она поет в церковных хорах  
И в монастырских вечерах  
И, рассыпая в урны прах,  
Печатает вино в амфорах.

Как успокоенный сосуд  
С уже отстоенным раствором,  
Духовное — доступно взорам,  
И очертания живут.

4

Бесшумное веретено  
Отпущено моей рукою.  
И — мною ли оживлено —  
Переливается оно  
Безостановочной волною —  
Веретено.

Все одинаково темно;  
Все в мире переплетено  
Моею собственной рукою;

И, непрерывно и одно,  
Обуреваемое мною  
Остановить мне не дано —  
Веретено.

5

Колосья, так недавно сжаты,  
Рядами ровными лежат;  
И пальцы тонкие дрожат,  
К таким же, как они, прижаты.

6

Не говорите мне о вечности —  
Я не могу ее вместить.  
Но, как же вечность не простить  
Моей любви, моей беспечности?

Я слышу, как она растет  
И полуночным валом катится.  
Но — слишком дорого поплатится,  
Кто слишком близко подойдет.

И, тихим отголоском шума я  
Издаю бываю рад —  
Ее пенящихся громад —  
О милом и ничтожном думая.

7

Твоя веселая нежность  
Смутила меня.  
К чему печальные речи,  
Когда глаза  
Горят, как свечи,  
Среди белого дня?

Среди белого дня  
И та — далече —  
Одна слеза,



Воспоминание встречи;  
И, плечи клоня,  
Приподнимает их нежность.

8

Озарены луной ночева  
Бесшумной мыши полевой;  
Прозрачными стоят деревья,  
Овеянные темнотой, —

Когда рябина, развивая  
Листы, которые умрут,  
Завидует, перебирая  
Их выхоленный изумруд, —

Печальной участи скитальцев  
И нежной участи детей;  
И тысячи зеленых пальцев  
Колелет множество ветвей.

На влажный камень возведенный,  
Амур, печальный и нагой,  
Своей младенческой ногой,  
Переступает, удивленный

Тому, что в мире старость есть. —  
Зеленый мох и влажный камень, —  
И сердца незаконный пламень —  
Его ребяческая месть.

И начинает ветер грубый  
В наивные долины дуть;  
Нельзя достаточно сомкнуть  
Свои страдальческие губы.

9

Если утро зимнее темно,  
То холодное твое окно  
Выглядит, как старое панно.

Зеленеет плещ перед окном;  
И стоят под ледяным стеклом  
Тихие деревья под чехлом —

Ото всех ветров защищены,  
Ото всяких бед ограждены  
И ветвями переплетены.

Полусвет становится лучист.  
Перед самой рамой — шелковист  
Содрогается последний лист.

10

Пустует место. Ветер длится  
Твоим отсутствием томим.  
Назначенный устам твоим  
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами  
Пустынницы не подойдешь;  
И на стекле не проведешь  
Узора спящими губами;

Напрасно, резвые извивы —  
Покуда он еще дымит —  
В пустынном воздухе чертит  
Напиток долготерпеливый.

В смиренномудрых высотах  
Зажглись осенние плеяды.  
И нету никакой отрады,  
И нету горечи в мирах.

Во всем однообразный смысл  
И совершенная свобода:  
Не воплощает ли природа  
Гармонию высоких числ?

Но выпал снег — и нагота  
Деревьев траурною стала;  
Напрасно вечером зияла  
Небес золотая пустота;

И белый, черный, золотой —  
Печальнейшее из созвучий —  
Отозвалось неминуемой  
И окончательной зимой.

Дыханье вещее в стихах моих  
Животворящего их духа,  
Ты прикасаешься сердец каких —  
Какого достигаешь слуха?

Или пустынное напева ты  
Тех раковин в песке поющих,  
Что круг очерченной им красоты  
Не разомкнули для живущих?

Нету иного пути,  
Как через руку твою —  
Как же иначе найти  
Милую землю мою?

Плыть к дорогим берегам,  
Если захочешь помочь:  
Руку приблизив к устам,  
Не отнимай ее прочь.

Тонкие пальцы дрожат;  
Хрупкое тело живет:  
Лодка, скользящая над  
Тихою бездною вод.

Что музыка нежных  
Моих славословий  
И волны любви  
В напевах мятежных,

Когда мне оттуда  
Протянуты руки,  
Откуда и звуки  
И волны откуда —

И сумерки тканей  
Пронизаны телом —  
В сиянии белом  
Твоих трепетаний?

На темном небе, как узор,  
 Деревья траурные вышиты;  
 Но выше и все выше ты (1)  
 Возводишь изумленный взор:

Божница неба заперта — (2)  
 Ты скажешь, время опрокинула  
 И, словно ночь, на день нахлынула  
 Холмов холодная черта.

Высоких, неживых дерев  
 Темнеющее рвется кружево:  
 О месяц, только ты не суживай  
 Серпа, внезапно почернев!

Единственной отрадой  
 Отныне сердцу дан—  
 Неутомимо падай,  
 Таинственный фонтан.

Высокими снопами  
 Взлетай и упадай  
 И всеми голосами  
 Вдруг — сразу умолкай.

Но ризой думы важной  
 Всю душу мне одень,  
 Как лиственницы влажной  
 Трепещущая сень.

(1) Вариант: Зачем же выше, и все выше ты  
 (2) Вариант: Вверху такая темнота.

Когда укор колоколов  
 Нахлынет с древних колоколен,  
 И самый воздух гулом болен,  
 И нету ни молитв, ни слов, —

Я уничтожен, заглушен.  
 Вино, и крепче, и тяжеле,  
 Сердечного коснулось хмеля —  
 И снова я неутолен.

Я не хочу моих святынь,  
 Мои обеты я нарушу —  
 И мне переполняет душу  
 Неизъяснимая полынь.

Мне стало страшно жизнь отжить —  
 И с дерева, как лист, отпрянуть,  
 И ничего не полюбить,  
 И безмянным камнем кануть;

И в пустоте, как на кресте,  
 Живую душу распиная,  
 Как Моисей на пустоте,  
 Исчезнуть в облаке Синая.

И я слежу — со всем живым  
 Меня связующие нити,  
 И бытия узорный дым  
 На мраморной сличаю плите;

И содроганья теплых птиц  
 Улавливаю через сети,  
 И с истлевающих страниц  
 Притягиваю прах столетий.

Я вижу каменное небо  
 Над тусклой паутиной вод.  
 В тисках постылого Эреба  
 Душа томительно живет.

Я понимаю этот ужас  
 И постигаю эту связь:  
 И небо падает, не рушась,  
 И море плещет, не пенясь.

О крылья бледные химеры  
 На грубом золоте песка,  
 И паруса трилистник серый  
 Распятый, как моя тоска!

Вечер нежный, сумрак важный.  
 Гул за гулом. Вал за валом.  
 И в лицо нам ветер влажный  
 Бьет соленым покрывалом.

Все погасло. Все вмешалось.  
 Волны берегом хмелели.  
 В нас вошла слепая радость —  
 И сердца отяжелели.

Оглушил нас хаос темный,  
 Одурманил воздух пьяный,  
 Убаюкал хор огромный:  
 Флейты, лютни и тимпаны...

Убиты медью вечерней  
 И сломаны венчики слов.  
 И тело требует терний;  
 И вера — безумных цветов.

Упасть на древние плиты  
 И к страстному Богу воззвать,  
 И знать, что молитвой слиты  
 Все чувства в одну благодать!

Растет прилив славословий —  
 И вновь, в ожиданьи конца,  
 Вином божественной крови  
 Его — тяжелеют сердца;

И храм, как корабль огромный,  
 Несется в пучине веков.  
 И парус духа бездомный  
 Все ветры изведать готов.

Как облаком сердце одето  
 И камнем прикинулась плоть,  
 Пока назначенье поэта  
 Ему не откроет Господь.

Какая-то страсть налетела,  
 Какая-то тяжесть жива;  
 И призраки требуют тела,  
 И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,  
 Как ласки, заветных имен,  
 Но тайные ловит приметы  
 Поэт, в темноту погружен.

Он ждет сокровенного знака,  
 На песнь, как на подвиг, готов:  
 И дышит таинственность брака  
 В простом сочетании слов.

## НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО К В. В. ГИППИУСУ (1)

Paris, 19-27/IV/08

Уважаемый Владимир Васильевич!

Если Вы помните, я обещал написать вам «когда устроюсь».

Но я не устроился, т. е. не имел сознание, что делаю «нужное» до самого последнего времени, и поэтому я не нарушил своего обещания.

Поговорить с вами у меня всегда была потребность, хотя ни разу мне не удалось сказать вам то, что я считал важным.

История наших отношений, или может быть моих отношений к вам кажется мне... вообще довольно замечательной.

С недавнего времени я чувствовал к вам особенное притяжение и в то же время чувствовал какое-то особенное расстояние, отделявшее меня от вас.

Всякое сближение было невозможным, но некоторые злобные выходки доставляли особенное удовольствие, чувство торжества: «а все-таки...». Вы простите мне мою смелость если скажу, что вы были для меня тем, что некоторые называют: «друго-врагом»...

Осознать это чувство стоило мне большого труда и времени...

Но я всегда видел в вас представителя какого-то дорогого и вместе враждебного начала, причем двойственность этого начала составляла даже его прелесть.

Теперь для меня ясно, что это начало не что иное, как религиозная культура, не знаю христианская ли, но во всяком случае религиозная.

Воспитанный в религиозной среде (семья и школа) я издавна стремился к религии безнадежно и платонически — но все более и более сознательно. Первые мои религиозные переживания отно-

(1) Владимир Васильевич Гиппиус (1876-1941) педагог, литературный критик и поэт. Был директором Тенишевского училища и преподавателем в нем русской литературы. В его стихах, напечатанных под псевдонимом Бестужев, преобладают религиозно-мистические мотивы в духе раннего символизма. Очень интересен его небольшой этюд «Пушкин и христианство» (1916 г.). О. Мандельштам описал своего учителя в «Шуме времени». Прим. Ред.

сятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения.

Но связь религии с общественностью для меня порвалась уже в детстве.

Я прошел 15 лет через очистительный огонь Ибсена — и хотя не удержался на «религии воли», но стал окончательно на почву религиозного индивидуализма и антиобщественности.

Толстой и Гауптман два величайших апостола любви к людям воспринимались горячо, но отвлеченно, так же как и «философия нормы».

Мое религиозное сознание никогда не поднималось выше Кнута Гамсуна и поклонения «Пану», т. е. несознанному Богу и поныне является моей «религией». (О, успокойтесь, это не «мэонизм» и вообще с Минским я не имею ничего общего).

В Париже я прочел Розанова и очень полюбил его, но не то конкретное культурное содержание — к которому он привязан своей чистой, библейской привязанностью.

Я не имею никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку — но тем сильнее люблю жизнь, веру и любовь.

Отсюда вам будет понятно мое увлечение музыкой жизни, которую я нашел у некоторых французских поэтов с Брюсовым из русских. В последнем меня пленила гениальная смелость отрицания, чистого отрицания.

Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки.

Кроме Верлена я написал о Роденбахе и Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне (2). Затем, немного прозы и стихов. Лето я собираюсь провести в Италии, а вернувшись поступить в университет и систематически изучать литературу и философию. Вы меня простите: но мне положительно не о чем писать кроме, как о себе. Иначе письмо обратилось бы в «корреспонденцию из Парижа».

Если вы мне ответите, то может быть расскажете мне кое-что, что могло бы меня заинтересовать.

Ваш ученик Осип Мандельштам.

Мой адрес: rue de la Sorbonne, 12.

(2) Эти первые критические опыты О. Мандельштама до нас не дошли.

## СТАТЬИ О. МАНДЕЛЬШТАМА, НЕ ВОШЕДШИЕ В ТРЕХТОМНИК

Иннокентий **Анненский**. Фамира-кифаред. Вакхическая драма, изд. Португалова, М., 1913.

К жестокой сказке Софокла Иннокентий Анненский подходит с болезненной осторожностью современного человека.

Тема любви матери к собственному сыну превратилась у Анненского в мучительное чувство лирической влюбленности и так далеки небожители от этих смятенных, отравленных музыкой душ, что нимфа Аргионэ, когда решается погубить кифареда, очарованного Музами, не сразу находит слова для обращения к Зевсу. И, когда Гермес спускается на землю, чтобы возвестить волю богов, он более похож на куклу, сделанную руками волшебника-Леонардо для какого-нибудь князя итальянского Возрождения, чем на живого олимпийца.

Пока Фамира был причастен музыке, он метался между женщинами и звездами. Но когда кифара отказалась ему служить и музыка лучей померкла в выжженных углем глазах, он жутко безучастный к своей судьбе сразу становится чужд трагедии, как птица, что сидит на его простертой ладони.

Только поучение звучит совсем как голос древнего хора:

Благословенны боги, что хранят  
Сознание нам и в муке.

«Фамира-кифаред» прежде всего произведение словесного творчества. Вера Анненского в могущество слова безгранична. Особенно замечательно его умение передавать словами все оттенки цветного спектра. Театральность пьесы весьма сомнительна. Она написана поэтом питавшим глубокое отвращение к театральной феерии и не как советы исполнителям, а как само исполнение следует понимать чудесные ремарки, в выразительности не уступающие тексту.

Пляски и хоры Анненского воспринимаются как уже воплощенные и музыкальная иллюстрация ничего не прибавит к славе «Фамиры-кифареда».

Для чего, в самом деле, тимпан и флейту, претворенные в слово, возвращать в первобытное состояние звука?

Напечатана книга всего в 100 экземплярах.

«День», 1913, 8 октября,  
приложение «Литература, искусство, наука».

**С. Городецкий**. Старые гнезда. Повести и рассказы, изд. т-ва А. С. Суворина, СПб, 1914 (?).

Двойственное впечатление оставляет последняя книга рассказов Городецкого. Свободный полет душевной жизни, пламенная и зрелая любовь к России уживается у поэта с унылой покорностью трафаретам отечественной беллетристики. Умирание дворянских усадеб, история блудного сына, разлад и гниение в зажиточной крестьянской семье достаточно знакомы читателю. Только вспышка острой наблюдательности, порою остроумия, и неожиданные стилистические вдохновения, а также отсутствие тупого пристрастия к определенному классу или сословию поднимают эту книгу над подобными ей. Если есть у автора пристрастие — то предмет его дети: «милое родимое зверье, босоное наше будущее».

В рассказе «Глухая тропа», пожалуй, лучшим в книге, прекрасно передано смутное детское влечение к смерти: гимназист Митя травится медленню уксусом и под страшной клятвой выдает свою тайну девочкам Зое и Рае, которые, пачкая светлые туфельки, бегут на мельничную плотину и бросают в воду свой завтрак, чтобы сделать первый шаг к небытию.

Городецкий не создает в прозе собственного мира. Русская действительность, не очищенная в горниле художественного созерцания предстает в его рассказах несколько кошмарной.

Кажется, что с годами автор пришел к сознанию невозможности для прозаического повествователя непосредственно заглядывать в сокровенное изображаемых людей и предоставил догадываться о нем читателю, на основании неслучайных слов, жестов и положений, закрепленных писателем.

Павел **Кокорин**. Музыка рифм. Поэзописьсы, СПб, лето 1913.

Напряженная серьезность мысли и слова странно не гармонирует с наивно-футуристической внешностью. Способность к высокой абстракции сочетается у автора с оригинальным чувством ритма. Скупой и холодный в средствах выражения, поэт предпочитает коротенькие строчки (нередко по одному слову на строчку), что придает его стихам отрывистый и резкий темп, напоминающий Полежаева:

Светил, горел хрусталь.  
Я пил и пел печаль.

Ритм Кокорина органический: он находится в полном согласии с дыханием, как народная песня.

Книжка Кокорина очень народна, без всякой кумачности и в то же время утонченна, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наивности автора.

Там же, 21 октября 1913, понедельник.

Приложение к № 285.

### К ЮБИЛЕЮ Ф. К. СОЛОГУБА

Сегодня Ленинград, а с ним вся литературная Россия празднует сорокалетие литературной деятельности Федора Кузьмича Сологуба (Тетерникова). Поэзия Сологуба связана с глухим старческим временем — восьмидесятыми и девяностыми годами в исток своих и с отдаленнейшим будущим связана она своей природой.

Среди всех стихов, какие печатали сверстники молодого Сологуба, стихи его сразу выделились особой твердостью, уверенной гармонией, высокой и человеческой ясностью.

Может быть впервые, после долгого, долгого перерыва в русских стихах прозвучало волевое начало — воля к жизни, воля к бытию.

Среди полусуществований, среди ублюдков литературы и жизни появилась личность цельная, жаждущая полноты бытия, трепещущая от сознания своей связи с миром.

В те печальные годы ничто не называлось своим именем: проза называлась «беллетристикой» и жалкое поэтизирование называлось поэзией. Не было недостатка в писателях обличительного склада, кругом раздавалось лирическое нытье. Казалось, в этой обстановке не может быть места не только величию, но даже значительности. Но Сологуб поднял на плечи свои огромную работу, обобщающей силой человеческого духа он поднял современность до значенья эпохи и он же обобщающей силой беспомощный лепет современников возвысил до выразительности вечных, классических формул.

В наследство от прошлого он получил горсточку слов, скудный словарь и немного образов. Но как дитя, играющее камуш-

ками, он научил нас играть и этими скудными дарами времени с ясной свободой и вдохновеньем.

Для людей моего поколения Сологуб был легендой уже двадцать лет назад. Мы спрашивали себя: кто этот человек, чей старческий голос звучит с такой бессмертной силой? Сколько ему лет? Где черпает он свою свободу, это бесстрашие, эту нежность и утешительную сладость, эту ясность духа и в самом отчаянии?

Сначала, по юношеской своей незрелости, мы видели в Сологубе только утешителя, бормочущего сонные слова, только искусного колыбельщика, который учит забытью — но чем дальше, тем больше мы понимали, что поэзия Сологуба есть наука действия, наука воли, наука мужества и любви.

Прозрачными, горными ручьями текли Сологубовские стихи с альпийской, тютчевской вершины. Ручейки эти журчали так близко от нашего жилья, от нашего дома. Но где-то тают в розоватом холоде альпийском вечные снега Тютчева. Стихи Сологуба предполагают существование и таяние вечного льда. Там, наверху, в тютчевских Альпах их причина, их зарождение. Это спусхождение в долину, спуск к жилью и житью снеговых, эфирно-холодных залежей русской поэзии, может быть слишком неподвижных и эгоистических в ледяном своем равнодушии и доступных лишь для отважного читателя. Тают, тают тютчевские снега через полвека, Тютчев спускается к нашим домам: это второй акт, необходимый, как — выдыхание после вдыхания, как гласная в слоге после согласной, это не переключка, даже не продолжение, а кругооборот вещества, великий оборот **естества** в русской поэзии с ее Альпами и равнинами:

Не понимаю отчего  
В природе мертвенной и скудной  
Воссоздается властью чудной  
Единой жизни торжество.

Есть голос эпох, которые нуждаются в переводчике. Есть косноязычные времена, лишенные голоса. Из косноязычья рождается самый прозрачный голос. От прозрачного отчаяния один шаг до радости. К будущему обращена вся поэзия Сологуба. Он родился в безвременьи и медленно насыщался временем, учился дышать и учил любить.

Внуки и правнуки поймут Сологуба и поймут по-своему, и

для них «Пламенный круг» будет книгой, сжигающей уныние, превращающей нашу косную природу в легкий и чистый пепел.

Федор Кузьмич Сологуб — как немногие — любит все подлинно новое в русской поэзии. Не к перепевам и к застывшим формам он нас зовет. И лучший урок из его поэзии: если можешь, если умеешь, делай новое, если нет, то прощайся с прошлым, но так прощайся, чтобы сжечь это прошлое своим прощанием.

Газета «Последние Новости»,  
Ленинград, 11 февраля 1924, № 6.



Осип Мандельштам (около 1909 г.)

(Из книги проф. Кларенса Брауна.

The prose of Osip Mandelstam, Princeton, 1965)

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

## ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» О МАНДЕЛЬШТАМЕ (1)

(Арест О. Мандельштама в 1934 г.)

### МАЙСКАЯ НОЧЬ

...Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне (2) и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?» — спросил Пунин (3), желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи: «А после на дрогах в сумерки в навозном снегу тонуть... Какой сумасшедший Суриков мой последний опишет путь» (4). Но этого путешествия ей совершить не пришлось: «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева (5) — он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело, — он, конечно, умудрился пропустить мать и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое: «Вы ездите со скоростью Анны Карениной», когда однажды опоздал поезд, и «что вы таким водолазом вырядились?» — в Ленинграде шли дожди и она приехала в ботинках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они ста-

(1) «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам в скором времени выйдут в свет на русском и иностранных языках. Мы печатаем здесь первые главы книги.

Примечания принадлежат редакции.

(2) Ахматова.

(3) Третий муж А. А. Ахматовой, художественный критик; был арестован в 1935 г. и погиб в лагере в 1951 году.

(4) См. «Вестник РСХД», № 95-96, стр. 126.

(5) Сын А. Ахматовой и Николая Гумилева, родился в 1911 г.



новились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе Поэтов. «Цыц, — кричала я, — не могу жить с попугаями!». Но в мае 1934 года они не успели разместиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме шаром покати — никакой еды. О. М. отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне... Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О. М. вернулся с добычей — одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке — газа еще не провели и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к гостю покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. «Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище? — спросил раз Нарбут (6), заглянув в кухню к Анне Андреевне, — пошли бы лучше на какое-нибудь заседание, посидели». Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив О. М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. «Это за Осей», — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины — мне показалось, что их много, все в штатском пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовым пальто. В сущности эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незваные гости переступили порог.

Я по привычке ждала: «Здравствуйте!» или «Это квартира Мандельштама?» или «Дома?» или, наконец, — «Примите телеграмму...». Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь, и ждет, чтобы открывший посторонился

(6) Поэт-акмеист, погибший в конце 30-х годов в лагере.

и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во все мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не оттолкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О. М. «Вы за мной?» — спросил он. Невысокий агент, почти улыбувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О. М. вынул из кармана паспорт. Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь и в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из «наших», как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшего в 37 году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на «ночную работу» отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить последственным, что они почему-то признавались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали?» — повторяла дочь за отцом: «Ведь этим они подводили и себя и нас!...». А «мы» означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. А мне чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высокопоставленного Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготавливают динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О. М., но он отругнулся: «Пускай Мандельштам сам ищет», — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты даже не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял как школьник руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распорядившийся обыском, насмешливо на него поглядел: «Можете идти домой», — сказал он. «Что?» — удивленно переспросил Бродский... «Домой», — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услышав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей.

#### ВЫЕМКА

О. М. часто повторял хлебниковские строчки «Участок великая вещь!». «Это место свидания меня и государства...». Но эта форма встречи чересчур невинна — ведь Хлебников рассказал о заурядной проверке документов у подозрительного бродяги, т. е. о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу.

Незванные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу, без словора, распределили между собой роли. Всего их было пятеро — трое агентов и двое понятых. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года — в тридцать седьмом, — они, наверное, храпели от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный контроль над законностью ареста: ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятиям прошлых веков.

Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью: днем числились служащими домоуправления — слесарями, дворниками, водопроводчиками — не потому ли у нас всегда текут краны? — а по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей квартирной платы — это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано.

Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое младших — обыском. Тупость их работы бросалась в глаза. Действовали они по инструкции, то-есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными — кто не знает этих тайн? — ящиками и в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, она бы пролежала до окончания века. Или еще лучше, просто положить на обеденный стол...

Из двух младших я запомнила одного — молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь старым переплетам, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк. Сейчас один мой добрый знакомый писатель, деятель ССП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками — Саша Черный и Северянин в первоизданиях — и все предлагает мне леденец из жестяной коробки, хранящейся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то огромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа — пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых — сливаются у меня в одно. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменял профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, продолжает угощать меня из той же коробочки.

Этот жест — угощение леденцами — повторялся во многих домах при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал, как спо-

собы вхола в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и выстукивание потайных ящиков? Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и гражданской войны. А что страшнее, я сказать не могу.

Старший чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на корточки, перебирал в сундуке бумаги. Действовал он медленно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора. Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что угощал леденцами, с пеной у рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым. Роли это не играет, но соблюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи.

Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинение, поэтому я навязалась чину в консультанты, читала трудный почерк О. М., датировала рукописи и отбивала все, что можно, например, хранившуюся у нас поэму Пяста и черновики сонетов Петрарки. Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О. М. черновик «Волка» и, нахмутив брови, прочел в полголоса этот стишок от начала до конца, а потом выхватил шуточные стихи про управдома, разбившего в квартире недозволенный орган. «Про что это?» — недоуменно спросил чин, бросая рукопись на стул. «А в самом деле, — сказал О. М., — про что это?».

Вся разница между периодами — до и после 37 года — сказалась на характере пережитых нами обысков. В 38 никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38 вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34 — всю ночь, до утра.

Но оба раза, видя, как я собираю вещи, шутливо — по инструкции! — говорили: «Что даете столько вещей? Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят...» Таковыми были остатки эпохи «высокого гуманизма» — двад-

цатых и начала тридцатых годов. «Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов», — сказал О. М. зимой 37/38 года, читая в газете, как поносят Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории...

Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетронутым на столе. Все — у нас находился еще и Евгений Эмильевич, брат О. М. недавно приехавший из Ленинграда, — ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О. М. перед уходом поел и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел... А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для пришельцев это была трын-трава. И я очень жалею, что среди бумаг, украденных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов — они для выемки не предназначались и потому лежали на полу — с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и поэтому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным, — преданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева, который доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна. Ни она, ни я рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные ей письма из этого архива.

— Осип, я тебе завидую, — говорил Гумилев, — ты умрешь на чердаке.

Пророческие стихи к этому времени были уже написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. А ведь поэт это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь «с гурьбой и гуртом». Смерть на чердаке не для нашего времени.

Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти — мы жили тогда в Царском Селе — О. М. через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церковь согласна выступить в защиту казнимых при

условии, что О. М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О. М. ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных О. М. в те дни, когда он пытался примириться с действительностью.

Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званые и незваные ушли. Незваные увели с собой хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Спать во всяком случае мы не ложились и чаю выпить не догадались. Мы ждали часа, когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дому. Зачем? Куда? К кому? Жизнь продолжалась... Вероятно, мы были похожи на утопленных. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию — ни о какой литературе мы тогда не думали.

#### УТРЕННИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Мы никогда не спрашивали, услышав про очередной арест: «За что его взяли?». Но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывали причины и оправдания для каждого ареста — «Она ведь действительно контрабандистка», «он такое себе позволял», «я сам слышал, как он сказал...». И еще: «Надо было этого ожидать — у него такой ужасный характер», «мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке», «это совершенно чужой человек»... Всего этого казалось достаточным для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный... Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: «не наш»... И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос: за что его взяли? — стал для нас запретным. «За что?» — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-либо из своих, выразившись общим стилем, задавал этот вопрос: — «Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что...».

Но когда увели О. М., мы с Анной Андреевной все же задали себе этот запретный вопрос: за что? Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований по нашим, правовым

нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе или за конкретное стихотворение о Сталине. Могли арестовать его и за пощечину Толстому. Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы... В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: «Мы ему покажем, как бить русских писателей...». Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь и верю, что у Горького были крупные разногласия с хозяином и что он был здорово зажат. Но из этого никак не следует, чтобы Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа О. М., глубоко ему враждебного и чуждого. А чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли, достаточно прочесть его статьи, выступления и книги.

Так или иначе, мы возлагали все надежды на то, что арест вызван мезью за пощечину «русскому писателю» Алексею Толстому. Как оформлять это дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылка и ссылка стали у нас бытовыми явлениями. В годы передышки, когда террор не бушевал, весной — обычно в мае — и осенью происходили довольно широкие аресты преимущественно среди интеллигенции. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали, отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33 года, говорил, что не успевает посылать телеграммы и писать письма своим друзьям — «возвращенцам». Очевидно, в 27 или в 29 году метла прошла по теософическим кругам и дала массовое возвращение в 33-м. А к нам весной до ареста О. М. вернулся Пяст... Возвращенцы после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках стоверстной зоны. Раз все «уезжают», чем же мы лучше? Незадолго до ареста, услышав, что О. М. ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напредила: «Май на носу — ты бы поосторожнее!». О. М. отмахнулся: «Чего там? Ну, вышлют... Пусть другие боятся, а нам-то что?..». И мы действительно почему-то не боялись высылки.

Другое дело, если бы обнаружались стихи про Сталина (7). Вот о чем думал О. М., когда уходил и поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался, что за эти стихи он заплатится жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. Волчий же цикл особых бед не сулил — в крайнем случае лагерь...

Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно! Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали очень точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей — искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода мистики, ученые, идеалисты, остроумцы, слушники, мыслители, болтуны, молчалники, спорщики, люди, обладающие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «Вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты. «Не носите эту шляпу, — говорил О. М. Борису Кузину (8), — нельзя выделяться — это плохо кончится». И действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам переменилось, когда решили, что советские ученые должны одеваться еще лучше западных пижонов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок, получил вполне приличный научный пост. Шляпа — шутка, а голова под шляпой действительно предопределяла судьбу.

Люди искореняющей профессии придумали поговорку: «Был бы человек — дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте (1928) от Фурманова, брата писателя. Чекист, которому только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство людей лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный, веселый непман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру в «следствие», которая своей реальностью щекотала им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего непмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширительных

(7) «Мы живем, под собою не чуя страны», напечатано под номером 286, в I томе Собрания сочинений.

(8) Биолог, друг О. Мандельштама.

толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то-есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия: через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и непманы, то-есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме О. М., не обращал внимания на забавы бывшего следователя, и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если бы О. М. не сказал мне: «Ты только послушай...» У меня ощущение, будто О. М. специально показывал мне все то, что он хотел, чтобы я запомнила... Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: «Кто не с нами, тот против нас».

Анна Андреевна с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили... «Вам нужно беречь силы», — сказала Анна Андреевна... Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию: сплошь и рядом люди сидели по многу недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высылали или не уничтожали. Этого требовало оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге... Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может, просто работал бюрократический инстинкт, чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги? Впрочем, законы тоже бывают разные...

Для семьи арестованного период ожидания заполнялся хлопотами — О. М. назвал их в «Четвертой прозе» — «невесомыми, интегральными ходами» — добыванием денег и стоянием в очереди с передачами. В 34 году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптанным другими женами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу: изменить судьбу О. М. было не в моих силах, но часть рукописей уцелела, много сохранилось в памяти — только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы.

Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за при-

езда Анны Андреевны его увели ночевать к себе Ардовы — у нас негде было разместиться. Зная, что О. М. встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость.

Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы я испытала настоящий приступ ужаса: «Уходите, — сказала я, — уходите скорей — ночью забрали Осю». И Лева покорно ушел. Так было у нас принято...

### СТИХОТВОРЕНИЕ А. А. АХМАТОВОЙ ПОСВЯЩЕННОЕ О. МАНДЕЛЬШТАМУ (1)

#### *Немного географии*

О. М.

Не столицей европейской  
С первым призом за красоту —  
Страшной ссылкой Енисейской,  
Пересадкою на Читу,  
На Ишим, на Иргиз безводный,  
На прославленный Атбасар,  
Пересадкой на город Свободный  
В чумный запах гниющих нар  
Показался мне город этот  
Этой полночью голубой —  
Он, воспетый первым поэтом,  
Нами грешными и тобой.

1937.

(1) Впервые напечатано в двуязычной антологии русской поэзии (Возрождение XX века), составленной Н. А. Струве (Aubier-Flammarion, Paris, 1970, 264 p.).



Осип Мандельштам (30-х годов)  
(Пенсионная карточка)

## СУДЬБА ПОЭТА

Несмотря на то, что за рубежом Мандельштам был открыт сравнительно недавно, написано о нем не мало. В этом легко убедиться ознакомившись с приведенной в третьем томе собрания его сочинений обширной библиографией работ русских и иностранных авторов. И тем не менее, достаточно серьезно вникнуть в редакционные предисловия или комментарии упомянутого издания, чтобы убедиться в том, насколько еще темны и не выяснены многие, едва ли не основные моменты жизненной и творческой биографии поэта. При этом можно указать также и на немалое количество неопубликованных или нуждающихся в текстологической проверке материалов. Все это невольно подрывает волю к обширным и синтетическим трудам, посвященным Мандельштаму.

Однако, есть тема, для осмысления которой у нас достаточно материала, и которая будет равно необходима и своевременна всегда, и не только для литературоведов, историков и биографов, но и для самых широких кругов читателей таланта Мандельштама. Эта тема — его судьба. В ней, как в едином фокусе собираются все проблемы: от универсальных, общечеловеческих — проблем жизни и смерти, творчества и свободы, — до частных, связанных с конкретными вопросами мандельштамоведения.

В качестве примера, подтверждающего плодотворность такого рода подхода можно сослаться на вступительную статью Никиты Струве,

опубликованную в третьем томе собрания сочинений Манделштама. Статья эта также интересна и тем, что в ней, пожалуй, впервые разговор о трагической судьбе поэта перенесен из плоскости феноменологии и безответственного политиканства в план религиозной метафизики. В этом Н. Струве явился продолжателем богатой традиции русской религиозно-философской критики, берущей свое начало от Достоевского и Вл. Соловьева.

“Чтобы быть поэтом, — пишет в своих заметках Н. Струве, — размер, рифма, образ, даже если владеть ими в совершенстве, — недостаточны, нужно другое, нечто большее: свой, неповторимый, голос, свое, незабываемое, мироощущение, своя, никем не разделенная, судьба” (III, стр. XXII). При всем схематизме данного утверждения оно представляется нам верным по существу: судьба Манделштама не слепой рок, а производное от самих законов поэзии, от верности своему голосу — мироощущению. Именно поэтому стремление автора проникнуть в глубинные пласты мироощущения и мировосприятия поэта и там отыскать ключ к пониманию его судьбы не только справедливо, но и необходимо. В нем осуществлены заповеди самого Манделштама: “На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан” (II, стр. 313).

Но что значит ответить на вопрос откуда пришел поэт? Прежде всего установить его литературный генезис, его родство и происхождение, — так думал сам Манделштам. У Н. Струве эта мысль лишь намечена, ее следовало бы расширить и углубить; однако, главное в ней есть — указаны иудео-христианские, религиозные истоки мироощущения поэта. Здесь, конечно, важно и детское “увлечение марксистской догмой”, и пришедшие на смену марксизму Ибсен, Розанов и Вл. Соловьев, — но об этом мы имеем лишь отрывочные или косвенные сведения (1). Наиболее же важное значение имеет дошедший до нас лишь в отрывках доклад о Пушкине и Скрябине, в котором четко сформулирована центральная для мировоззрения Манделштама тема о художнике, как “вольнотпущеннике идеи искупления” и христианском искусстве, как “свободном подражании Христу”. Известно, что и позже он считал эту свою работу “самым главным из написанного”.

“Искусство не может быть жертвой, — утверждал Манделштам в своем докладе, — ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа! Божественная иллюзия искупления, заключающаяся в христианском искусстве, объясняется именно этой игрой с нами Божества, которое позволяет нам блуждать по тропинкам мистерии с тем, чтобы мы

(1) См. напр., очень интересное и важное для понимания духовной эволюции Манделштама письмо к Вл. Вас. Гиппиусу, публикуемое ниже. Впрочем, оно не отменяет, а лишь дополняет концепцию построения Н. Струве. То же относится и к богатым биографическим материалам воспоминаний вдовы поэта.

как бы от себя напали на искупление, пережив катарсис, искупление в искусстве” (II, стр. 357). Внимательно вчитываясь в эти слова, полные глубокой веры в искупительный подвиг Христа, трудно, однако, согласиться с утверждением Н. Струве, что “детски-райская душа Манделштама... недооценила трагической изнанки христианской благодати весты” (III, стр. XXIX), как и трудно согласиться с положением о “проходящей через все творчество мечтой о золотом веке, своеобразном хилиазме, нетерпеливом желании видеть явленную силу духа” (там же). Манделштам не был ни благодушным оптимистом, ни хилиастом — строй его мироощущения мужествен и самобытен, и если попытаться найти ему аналогию, то в первую очередь в памяти всплывет пасхальное “Слово” св. Иоанна Златоуста, в котором трудно увидеть “недооценку” трагизма христианства: “...войдите все в радость Господа своего: и одни и другие принимайте награду. Богатые и убогие, ликуйте друг у друга... Трапеза полна, все наслаждайтесь пиром веры: принимайте все богатство благодати. Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Угася ее Держимый ею. Пленил ад, Сошедший во ад”.

Именно это “пасхальное” мироощущение, пришедшее на смену символизму и позволившее Манделштаму преодолеть тот платоновский дуализм вечного и временного, единого и множественного, в который нередко упиралась религиозно-философская и эстетическая мысль. Мир для Манделштама не есть иллюзорное “царство теней”, нечто не должное или мнимое — она живая, конкретная, Богом созданная и оправданная в тайне боговоплощения реальность, где “смертным властью дана любить и познавать”. В этом своем мироутверждении Манделштам действительно противоположен Тютчеву, для которого жизнь подобна “утомительным снам”, а человеку, несмотря на его “вещную душу”, даны лишь проблески истинного бытия:

Мы в небе скоро устаем, —  
И не дано ничтожной пыли  
Дышать божественным огнем.

У Манделштама все иначе: земля, вместе со всеми своими тремя измерениями пространства, не обуза и не случайность, а “Богом данный дворец”. Отсюда и религиозное, близкое в исходной интуиции к Вл. Соловьеву понимание ответственности человека за свое положение в этом мире (“В самом деле, что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить” (II, стр. 364).) Из любви и верности земле выросла и поэзия, подобная “развернутому 103 псалму”; отсюда же и тяга к эллинизму. О последнем в статье Н. Струве, к сожалению, не сказано ни слова. К сожалению, ибо для Манделштама тема эллинизма не отделима от его учения о природе слова и языка, о мире вещей окружающем человека и воплощенном в слове, об его историософии, философии искусства и культуры. Обо всем этом несомненно следовало бы поговорить подробнее, поскольку Манделштам — философ и теоретик искусства

обычно представляется своего рода “довеском” или, в лучшем случае, комментатором к Мандельштаму-поэту.

В задачу краткой рецензии не входит ни подробный пересказ статьи Н. Струве, ни систематический разбор религиозно-философских и эстетических воззрений Мандельштама. Сознательно опущен и анализ некоторых стихотворений, имеющих принципиальное значение для понимания его судьбы. Оставаясь в рамках интересного построения Н. Струве, нам хотелось выделить один из центральных, на наш взгляд, аспектов мировоззрения поэта — его христианство. Следует думать, что религиозный характер мироощущения Мандельштама и был той доминантой, которая определила не только специфику его поэзии и эстетики, но и путь его жизни, окончившийся Голгофой, слова о “подражании Христу” оказались пророческими.

Нужно надеяться, что тема, поставленная Н. Струве, получит дальнейшее развитие как в его собственных трудах, так и в работах других авторов. Кроме того, основательное и углубленное изучение мировоззрения поэта несомненно поможет вытеснить давно уже сложившийся взгляд на Мандельштама как на “птичку божию”, “комического чудака”, не умеющего приспособиться к действительности, а потому обреченного метаться по “кровавой советской земле” и, в конце концов, быть раздавленным колесом террора. Но Мандельштам, при всей своей “детско-райской душе”, не был тем инфантильным стихотворцем, который волею случая оказался на поле битвы Добра и Зла: он мог выехать из России, мог замолчать и, быть может, сохранить этим жизнь. Но он принял ответственность, возложенную на него веком, и, говоря словами Н. Струве, “не только не ушел от своей судьбы, но пошел ей навстречу, овладел ею”. Его мученическая кончина (смерть) была последним, заключительным звеном его творческих достижений.

Э. Юрский.

Г. ДАЛЬНИЙ

### ПО ПОВОДУ ТРЕХТОМНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ О. МАНДЕЛЬШТАМА

(Дополнения и уточнения)

Вышедшими в 1969 г. — III том и I (второго исправленного издания) — томами Собрания сочинений О. Э. Мандельштама как будто завершился первый этап в составлении корпуса текстов выдающегося русского классика. Чувство благодарности к чрезвычайно сложной, даже рискованной, работе составителей и комментаторов безусловно возникнет у читателя этого Собрания, к сожалению, совсем не многочисленного в России.

Но задача нашей рецензии — остаться в точных рамках исправлений и дополнений к проделанной уже работе, поэтому она не претендует на высказывание какой-нибудь определенной точки зрения по поводу прин-

ципов издания или по существу текстов, представленными тремя томами Мандельштама.

Хочется лишь заметить, что работа по составлению подобного издания велась в советской России уже давно. Прежде всего это хранение на бумаге или в памяти стихотворений, благодарность за что — вдове О. Э., Н. Я. Мандельштам и друзьям погибшего поэта.

В 1950-1960 гг. в центральных городах России появились люди, занимавшиеся поисками стихотворных и прозаических текстов Мандельштама, сопоставлением только что широко возникших списков “Воронежских тетрадей”. Из их разобоченной и эклектичной работы научное мандельштамоведение и стало развиваться.

К середине 1960 г. появились первые самодельные “Полные собрания” Мандельштама, заполонившие самиздатские “рынки”. В это же время началась научная подготовка текстов Мандельштама к печати. Старое поколение литературоведов, как то: Л. Я. Гинзбург, Б. Я. Бухштаб, И. И. Харджиев (1), систематически занимавшиеся наследием Мандельштама еще и в 1930-1940 гг., пополнилось молодыми исследователями, среди которых выделился А. А. Морозов, благодаря чьей энергии увидел свет “Разговор о Данте”.

Однако, трудности исследовательской работы заключаются не только в необходимости поисков новых методов в текстологии стихотворного текста новейшего времени, но и в слабости советского архивного источниковедения.

Считаю необходимым указать на целый ряд ошибок и неточностей, допущенных составителями “Собрания сочинений”.

### I. — ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ

№ 165. Отброшенные строки из “Федры” (ср. № 186).

№ 196. Вряд ли была необходимость оставлять это стихотворение в основном корпусе, если составителям уже было известно, что автором его является С. А. Клычков.

№ 238. Последняя строка читается: **И казнями там имениты дни.**

№ 134. Первая публикация указана неверно. Надо: “Сегодня”, М., 1922. № 1, стр. 2, без названия, со следующей первой строфой:

Бульварной Проппеи шорох —  
Лети зеленая лапта!  
Во рту булавок свежий ворох  
Дробями дождь залепетал.

(1) Гинзбург — автор предисловия, а И. И. Харджиев составил и комментарии “Собрания сочинений” О. Э. М. в “Библ. Поэта”. Этот сборник так света и не увидел, хотя его макет был готов еще в 1967 г. (макет — переплетенная верстка, не более 50 экзем.).



№ 241. Четвертый стих читается: **Чтобы губы потрескались, как розовая глина.**

№ 242. Первый стих читается: **Не табачною кровью газета плюет.**

№ 251. V строфа, 2-й стих: **И с белокурой тростью выхожу —**

№ 354. Две первые строфы как будто читаются так:

Еще не умер ты, еще ты не один,  
Покуда с нищенкой-подругой  
Ты наслаждаешься величием равнин  
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете  
Живи — спокоен и утешен —  
Благословенны дни и ночи те,  
И сладкогласный труд безгрешен.

№ 356. 1 строфа, 2-й стих. Не “пособие” а “подобье”.

№ 372. Предпоследний стих начинается с союза “И”.

№№ 408, 410 и 413 написаны не позже 1925 г. Их первая публикация в “Новый Робинзон”, Л., 1925, № 4, стр. 13. В этом же журнале в 1924 г., № 12, стр. 17 опубликовано: “Одеяльная страна. Из Стивенсона”.

№ 420. Стихотворение принадлежит Вас. Вас. Гиппиусу (записано в альбом Ахматовой). Составная рифма “Ахматова — ах, матово” встречается также в пародии В. Лебедева “Случайные брызги” (“Жизнь Искусства”, Пг., 1922, № 46, стр. 3). Отметим, что междометие “ах” в стихотворениях, посвященных Ахматовой, играет роль “знака-индекса” образа Ахматовой, на что указывает автор этюда “К анализу Поэмы без героя”. 2 (Ахматова и Хлебников) Р. Тименчик в сборнике “Тартуский гос. университет. Материалы XXV научной студенческой конференции “Литературоведени” — Лингвистика, Тарту, 1970).

№ 424. В первом стихе опечатка. Надо “вуайажор”.

№ 437. Это — эпиграмма на Иосифа Уткина.

№ 447. Первый стих: **Искусств приличных хоровода.** Два последних:

За Стоичевым год от года  
Настойчивей кроликовод.

В. Покровский — один из друзей Наташи Штемпель. Бывал у Мандельштама (в Воронеже). Ученик Стоичева, профессора воронежского сельскохозяйственного института.

№ 448. В первом стихе не “услышал”, а “проведал”.

№ 456. В третьем стихе от конца союз “и” ошибочен. Надо — “или”.  
**К “Комментариям”.**

№ 93. “Обвалы Сердца”, изд. “Таран”, Севастополь, (1920), стр. 15. Разрешено военной цензурой **9 сентября.**

№ 98. Там же.

№ 99. Впервые, вероятно, в “Знамя”, М., 1919, № 2, 3 февраля, стр. 16. Под названием “Рейнвейн”.

№ 114. Еще публикации в “Искусство”, Баку, 1921, № 2—3, стр. 13-14, под названием “Эвридика”, “Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино”, Харьков, 1922, № 9, 30 сентября, стр. 1 (в редакции “Красной Нови”).

№ 115. Опубликовано также в “Рупор”, М., 1922, № 5, стр. 2.

№ 116. В автографе посвящено О. Н. Арбениной. Ср. № 119.

№ 119. Опубликовано также в: “Искусство”, Баку, 1921, № 2—3, стр. 14-15, под названием “Конь” с разночтением строфа 1, стих 2 “соленые влажные губы”.

№ 251. Очевидна реминисценция из Баратынского: “Еще, как патриарх, не древен я, моей...” (Е. А. Баратынский. Полн. Собр. Стихотворений: “Библи. Поэта”, Л., 1957, стр. 18-5).

№№ 432-433. Неоднократно печатались Н. Оцупом в начале 1920-х гг. в различных периодических зарубежных русских изданиях. Кстати, для Собрания Соч. О. Э. Мандельштама работы с периодикой русской эмиграции 1920-х годов почти не произведено, между тем, в ней очень часто интересные упоминания о Мандельштаме. Точно так же остались без внимания периодические издания Юга России начала 20-х гг., где по всей вероятности печатались произведения Мандельштама, возможно в тех изданиях, где литературным отделом заведовал К. Мочульский.

№№ 434-435. Маргулис в комментариях представлен неверно. Он — один из близких Мандельштаму людей. Впрочем, об этом написано в “Воспоминаниях” Н. Я. Мандельштам.

№ 439. **“Казак еврею подражал”.** Имеется в виду не Бабель (!?), а сам Мандельштам.

## II. — ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

Очерк “Киев” опубликован также в “Вечерняя красная газета”, Л., 1926, 27 мая и 3 июня.

“Батум” — “Советский Юг”, 1922, 17 января. 2-ая часть в “Коммунист”, Харьков, 1922, 9 февраля.

“Письмо о русской поэзии” в “Советский Юг”, Ростов, 1922, 19 января.

“Кое-что о грузинском искусстве” в “Советский Юг”, Ростов, 1922, 19 января.

“Веер герцогини” в “Вечерний Киев”, 1929, 25 января.

“Жак родился и умер” в “Красная вечерняя газета”, Л., 1926, 3 июля.

ПИСЬМА. №№ 3-4. А. Э. Мандельштам никогда акушером или профессором не был; Евгений Мандельштам совсем не инженер, а деятель советского кино. См. о нем в “Кино-словаре”, т. 2, М., изд. “Советская Энциклопедия”, 1970, столб 1129.

№ 9. В. Я. Парнах учился в СПб Университете одновременно с О. Э. Мандельштамом.

Автор статьи о “Черном солнце” в приложении к III т. не учел богатой сопоставительным материалом и оснащенной прекрасным научным

аппаратом статьи современного индолога А. Я. Сыркина — “Черное солнце” в Институт народов Азии АН СССР. Краткие сообщения, т. 80, Литературоведение. Индия, Пакистан, Афганистан Изд-во “Наука”, М., 1965, стр. 20-32.

### III. — ДОПОЛНЕНИЯ К БИБЛИОГРАФИИ (Т. III).

Стр. 426-427. **Переводы в прозе.**

В этом разделе библиографии об исчерпывающем охвате работ Мандельштама в данной области говорить не приходится: указана едва ли не 1/3 всех прозаических переводов. Попытаемся несколько дополнить картину, добавив, что за полноту мы никоим образом ручаться не можем.

А. БАРБЮС. “Злючка-луна”. (Рассказы). Л., “Сеятель”, 1925, 48 стр.

А. БАРБЮС. “Подвиги Лантюрмо”. (Рассказы). Л., “Сеятель”, 1926, 48 стр.

А. ДОДЭ. “Тартарен из Тараскона”. Л., “Прибой”, 1927, 85 стр., два издания.

П. ИСТРАТИ. “Дядя ангел”. Рассказы Андриана Зограффи. Пер. И. Шеремевской, под ред. О. Мандельштама и Г. П. Федотова. Л., 1925, стр. 176.

С.-О. ЛЕВЕВР. “Тудиш”. Роман. Пер. под ред. О. Мандельштама и Г. П. Федотова, Л., “Время”, 1925, стр. 228. (Сохранилась весьма интересная внутренняя рецензия Мандельштама на эту книгу).

МАЙН-РИД. Собр. соч. М.-Л., “Зиф”, т. III. “Жилище в пустыне”. Пер. под ред. и с прим. О. Мандельштама, 1929, стр. 238, т. 7. “Квартетронка”. Пер. под ред. с прим. Б. Лившица и О. Мандельштама, 1929, стр. 413, т. IX. “На невольничьем судне”. Пер. под ред. и с прим. О. Мандельштама, 1929, стр. 248, т. 15. “Ямайские мароны”. Пер. под ред. и с прим. Б. К. Лившица и О. Э. Мандельштама, 1930, стр. 365, т. XXI. “На дне трюма”. Пер. под ред. и с прим. О. Мандельштама, 1929, стр. 244.

М.-А. НЕКСЕ. “Революция женщин” и др. рассказы. Л., “Прибой”, 1926, 101 стр.

А. ШНИЦЛЕР. “Фридолин”. Новелла. Л., “Книжные новинки”, 1926, стр. 102. (Кстати, и некоторые переводы в библиографии имеют неправильно указанный год издания).

Стр. 445. Указанный здесь перевод статьи “Правительство и печать во Франции” вышел отдельной брошюрой в ГИЗ’е в 1926 г.

Стр. 448. Пьеса Э. Толлера “Человек-масса” готовилась и была поставлена в переводе Мандельштама в Театре революционной сатиры (ТЕРЕВСАТ) режиссером А. Б. Велижевым, вероятно, в начале 1923 г. В ее постановке принимал участие В. Э. Мейерхольд.

## К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ КН. Е. Н. ТРУБЕЦКОГО (1863—1920)

### ПАМЯТИ КНЯЗЯ Е. Н. ТРУБЕЦКОГО

Из страны умирающих в страну живых отозван еще один из многих уже, еще уцелевших витязей русского имени, носителей русской культуры — от сыпного тифа скончался в Новороссийске кн. Е. Н. Трубецкой. Кому из людей мыслящих не было знакомо это имя — профессора, публициста, философа, богослова, церковно-общественного деятеля, выдающегося писателя! Кому не импонировала, даже против воли, эта колоритная, породистая фигура князя, в котором аристократизм соединялся с высшей духовной культурой, широкой европейской образованностью, бесспорной талантливостью, личным благородством и нравственной чистотой, с безраздельной любовью к родине и, в основе всего — с глубокой, детски-непосредственной и вместе философски осознанной личной религиозностью! Странно даже было бы сказать о нем, что он любил Россию: он сам был Россией, и она была в нем, такова была эта нераздельная слитность; и не менее странно было бы уверять, что он любил православную церковь, — он жил в ней, он не знал, не хотел Руси иначе, как православной, и последние устремления его ума были направлены к тому, чтобы отыскать религиозные истоки русской культуры, в связи с изучением старинной иконописи. Как шлифованный бриллиант горит и переливается самоцветными огнями, так и в нем искрились и личная даровитость, и европейская образованность, и религиозность и патриотизм, облекая его в богатое и пышное одеяние.

Но самую своеобразную и, конечно, наиболее ценную черту в нем составляло его религиозно-философское мировоззрение. Среди интеллигенции, духовно-темной и мертвой, он являлся нелicenseм и верным исповедником христианской веры, готовым дать сознательный философский отчет в своем уповании. Таков он был и на университетской кафедре, и в обществе, и в публицистике. В нем жила лучшая философская традиция — от Вл. С. Соловьева, в личной близости к которому он находился, и от незабвенного в истории русского просвещения брата его, кн. С. Н. Трубецкого, причем почва для семени русского православного философствования была обильно удобрена фосфоритами западной мысли — Кантовской и послекантовской философии. При свете этого мировоззрения постигал он и все события русской жизни,

в частности и теперешнюю гибель России, которую слепцы называли, а иные еще и продолжают называть «великой русской революцией». И все надежды на внутреннее и внешнее восстановление России связывались для него с жизнью православной церкви. Многочисленные сочинения, в которых кн. Е. Н. развивал свое мировоззрение, касаются самых различных вопросов: блаж. Августин и папская теократия, Ницше и Платон, Кант и Вл. Соловьев, смысл жизни и русская иконопись, вопросы права и политики и многообразные вопросы русской общественности. Об этом невозможно говорить в беглых строках. Но слушатели киевского и московского университетов, конечно, хорошо помнят его как выдающегося профессора и руководителя семинария; участника политических событий; наверно помнят его как блестящего оратора и выдающегося полемиста. Члены московского Религиозно-Философского Общества знают в нем постоянного участника и одного из руководителей его с самого основания (в 1906 г.); члены церковного собора помнят его ответственные выступления по острым вопросам в критические моменты церковной жизни. Но над всеми этими частными проявлениями возвышается кристальный облик покойного, его вера и верность, внушавшие доверие к его словам и делам. Он был **русский человек** с ног до головы — витязь Руси святой, воевавший с Русью поганой.

Но мне и тяжело и трудно говорить о нем и об его жизненном деле в третьем лице, как бы со стороны, потому что за 20 лет нашего знакомства быстро перешедшего в личную симпатию на основе идейной близости, наши пути многократно и тесно сплетались, почему невольно, вспоминая о нем, пришлось бы говорить о себе. Мы познакомились в Киеве в качестве киевских профессоров. Вместе перебалывали тогдашние академические нестроения, вместе проводили кампанию «освободительного движения» в Киеве, ездили на разные съезды, сообща работали в изданиях религиозного направления, чему не мешало всегда существовавшее между нами различие в оттенках мнений и темпераментах. Одновременно мы возвратились на родную московскую землю и вместе здесь открывали в 1906 г. Религиозно-Философское Общество имени Владимира Соловьева, оставившее ощутительный след в духовной культуре Москвы, и вместе везли, а иногда и тащили его на себе в трудные времена. Вместе основывали религиозно-философское издательство «Путь», столь много обещавшее, хотя безвременно прервавшееся. Вместе переживали восторги начала войны и ее разочарования. Вместе переживали подъем и воодушевление

на московском церковном соборе и вместе вступили в Высший Церковный Совет при патриархе, которого Е. Н. так безмерно ценил и чтит. Последняя наша встреча (осенью 1918 г.) была в Киеве: Е. Н. одиноким беглецом пробирался тогда из Москвы. Бог судил, что путь этот оказался для него последним.

Многие теперь уже перестают жалеть об умирающих, смерть утрачивает свой страх в сравнении с тем, что совершается в жизни. Однако, при вести об этой смерти скорбью сжимается сердце. Ее никоим образом нельзя считать естественной, ибо кн. Е. Н. еще находился в полном обладании духовных сил, умудренный (пропущено слово :опытом?) уже прожитой жизни. Даже и в лучшие времена для русской культуры, немного у нас было деятелей такого калибра, как он, а теперь уже последние могикане. Лично он умирал, конечно, в полном христианском уповании и с христианской надеждой предстать пред Вечного Судию.

Но наряду с общим христианским утешением, с которым мы напутствуем каждого отходящего в вере, во мне поднимается и другое, особое чувство, которое появилось еще в начале революции, до большевиков, и с особенной остротой, когда мы вместе с Е. Н. опускали в безвременную могилу общего нашего «религиозно-философского» друга, В. Ф. Эрнэ. Это чувство говорило мне тогда о том, что ныне совершающееся на русской земле есть отражение совершающихся катастроф в жизни космической и в мире духовном, и борьба света и тьмы с величайшим напряжением идет и по ту и по сю сторону бытия. И когда я думаю о том, сколько доблестных и лучших людей жертвенно и стойко отходят в тот мир, мне кажется, что отзываются бойцы в иную действующую армию, туда, где они нужнее. Ибо Святая Русь воинствует и утверждается не здесь только, но и там, где хранят и ведут ее небесные вожди.

Вечная память, дорогой Евгений Николаевич! Блажен путь, в онь же днешь идеши, о душа.

Священник Сергей Булгаков.

31 января 1920 г.

Напечатано в «Ялтинской Газете» от 2 февраля 1920 г. Сделанная от руки копия статьи сохранилась в архиве П. Б. Струве, находящемся сейчас у его старшего сына, Г. П. Струве.

## НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО КНЯЗЯ Е. ТРУБЕЦКОГО Н. Г. ЯШВИЛЬ

Дорогая Наталья Григорьевна (1),

Кажется за всю эту ужасную эпоху я еще не был так потрясен до глубины души, как получив роковое известие о судьбе милых и дорогих мне детей Ваших (2). Только тогда чувствуешь до дна Голгофу, переживаемую Россией, когда видишь на этой Голгофе людей столь милых и дорогих как Вы и Ваши дети. Дорогая Н. Гр. как бы хотелось мне быть теперь близко от Вас, чтобы крепко поцеловать Вашу руку и поделиться с Вами в особенности одним чувством, одним переживанием, которое теперь у меня сильнее всех прочих! Дорогая Нат. Гр. не даром льется теперь кровь мучеников, не даром мы теперь пьем чашу до дна. Верьте — великое теперь совершается над нами. Близко наблюдая наше церковное движение, я не только верю — **я знаю**, что воскреснет Церковь, которую Христос стяжал кровью своею и — кровью мучеников; такого светлого подъема я не видал за всю мою жизнь. Знаю, что и Вы его видите и чувствуете в Вашей Тане и племяннице Вашей; знаю потому, что мне сообщили как оне переживают свое несчастье. Все, что Вы чувствуете, все, что чувствует вся Россия олицетворяется для меня одним могучим впечатлением этих дней. Мы шли крестным ходом из Успенского Собора на Красную площадь. Толпа, где были сотни и тысячи только-что приобщившихся, ожидала расстрела и шла с пением **Кресту Твоему поклоняемся Владыко**. А пройдя Спасские ворота и увидав площадь, полную десятками тысяч, в порыве неудержимой радости запела: **«Христос Воскресе»** (3). Нат. Григ. — вот смысл и Вашей всероссийской Голгофы! То, что мы видели на Красной площади — есть начало воскресенья России, а воскресенье не бывает без смерти. И чувствуя издали всю бездонную муку Вашу, мне хочется сказать Вам — от всей души: Христос Воскресе! Как бы ни велико было падение наше и унижение наше — верьте, раз что чаша выпита до дна — воскреснет Бог и расточатся врази Его. Вместе с Церковью воскреснет и Россия. **«Христос Воскресе!»**.

(Начало 1918 г.)

Ваш, **Е. Трубецкой**.

(1) Княгиня Н. Г. Яшвилль (1862-1939), близкий друг семьи Трубецких, а так же М. Нестерова, часто гостившего в ее имении.

(2) В начале 18-го года, в Киеве, были расстреляны ее сын Владимир и зять Георгий Родзянко, младший сын председателя Думы.

(3) По словам кн. С. Е. Трубецкой, этот крестный ход имел место 28 января 1918 г. Из всех приходов Москвы на Красную площадь направились встречные крестные ходы. Собор прекратил свои работы на 5-ой неделе поста, после чего уже крестных ходов не было.

## ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

### ВОТ КАК МЫ ЖИВЕМ

**Вот как мы живем:** безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача, врачи заявляют, что он — помешанный, майор милиции кричит: «Мы — органы насилия! Встать!», крутят ему руки и везут в сумасшедший дом.

Это может случиться завтра с любым из нас, а вот произошло с Жоресом Медведевым — ученым-генетиком и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего интеллекта и доброй души (лично знаю его бескорыстную помощь безвестным погибающим и больным). Именно **разнообразие** его дарований вменено ему в ненормальность: «раздвоение личности»! Именно отзывчивость его на несправедливость, на глупость и оказались болезненным отклонением: «плохая адаптация к социальной среде!». Раз думаешь не так, как **положено** — значит, ты ненормальный! А адаптированные — должны думать все одинаково. И управы нет — даже хлопоты наших лучших ученых и писателей отбиваются, как от стенки горох.

Да если б это был первый случай! Но она в моду входит, кривая расправа без поиска вины, когда стыдно причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, много более — неизвестных. Угодливые психиатры, клятвопреступники, квалифицируют как «душевную болезнь» и внимание к общественным проблемам, и избыточную горячность, и избыточное холоднокровие, и слишком яркие способности, и избыток их.

А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в свое время не тронули пальцем — и то мы клянем палачей второе столетие. Пора бы разглядеть: захват свободомыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома есть **духовное убийство**, это вариант **газовой камеры**, и даже более жестокий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся **никогда**, и **все** причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно.

И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда!

Это — куций расчет, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести.

**А. Солженицын.**

15 июня 1970 г.

**ПИСЬМО А САХАРОВА  
ЦК КПСС. ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК  
ТОВАРИЩУ Л. И. БРЕЖНЕВУ**

**Глубокоуважаемый Леонид Ильич!**

Я глубоко озабочен беззаконием, допущенным органами здравоохранения в отношении моего друга Жореса Александровича Медведева. 29 мая отряд милиции с двумя врачами вломился в его квартиру и без предъявления документов на право задержания, с применением насилия доставил его для психиатрической экспертизы в г. Калугу, где он и находится в настоящее время в общей палате горпсихбольницы.

Вся эта акция с начала до конца является абсолютно беззаконной. Никаких соответствующих требованиям инструкций данных о психической ненормальности Ж. Медведева, тем более о его социальной опасности у органов здравоохранения не было и нет. Ж. Медведев является абсолютно здоровым человеком. Он широко известен советским и зарубежным ученым своими работами в области геронтологии, генетики и истории биологии в СССР, своей общественной деятельностью, протекающей на строго законном основании в интересах международного сотрудничества, в интересах советской демократии. Быть может, деятельность Медведева противоречит чьим-то интересам, в частности, интересам бывших участников широко разветвленного клана антинаучного направления в советской биологии, который своими провокациями, ошибками и авантюрами нанес такой урон нашей стране. Но, повторяю, деятельность Медведева является абсолютно законной, и с точки зрения большинства советских ученых в высшей степени полезной.

Акция в отношении Ж. Медведева вызывает глубокое возмущение и озабоченность советской и международной научной общности, она рассматривается не только как беззаконие в отношении лично Медведева, но и как потенциальная угроза свободе науки, советской демократии вообще.

Психиатрические больницы не должны применяться как средство репрессий против нежелательных лиц, необходимо оставить им единственную функцию — лечение настоящих больных с соблюдением всех их человеческих прав.

Сейчас органы здравоохранения встали в отношении Медведева на путь уловок и оттяжек (например, перенесение срока экспертизы без извещения об этом эксперта, согласованного с родственниками и включения эксперта, отведенного родственниками, тактика успокаивающих заверений, ложных обещаний и распространения ложных слухов). Мне стало также известно, что проводится и прямой обман родственников, психологическое давление, запугивание и нервирование Жореса Медведева.

Необходимо немедленно освободить Ж. А. Медведева. Органы здравоохранения и Министерство Внутренних дел должны дать объяснения общественности. Инициаторы и исполнители этой незаконной акции должны понести строгое наказание.

Я не могу поверить, что такое вопиющее беззаконие может быть санкционировано высшей властью.

Я прошу Вас вмешаться в дело Ж. А. Медведева — в интересах советской законности и демократии. В соответствии с своими принципиальными убеждениями о роли гласности в социалистическом демократическом государстве я считаю это письмо открытым.

**А. А. САХАРОВ, академик.**

6 июня 1970 года.

## ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

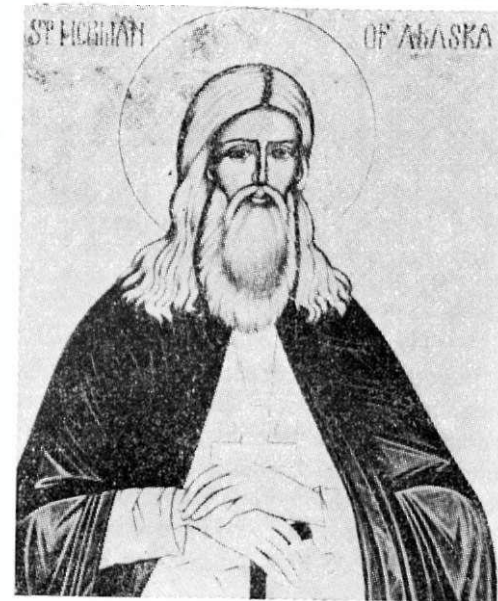
### ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРЕП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО ДНИ РАДОСТИ И СВЕТА

Как рассказать об этом? Как передать человеческими словами свет и радость, испытанные — даром, незаслуженно, действительно по благодати Божией — теми несколькимистами человек, что съехались на далекую Аляску для прославления праведного старца Германа? Моя заметка — не официальный отчет о торжествах канонизации, а слабая попытка поведать не бывшим там о том, что иначе, как чудом Божией милости, я назвать не могу.

После полета через всю Америку, в Сеатле началось вхождение наше, почти невольное, в то особое, в словах невыразимое, духовное настроение, в котором оставались мы все эти незабываемые дни. Особенный свет бесконечно длящегося северного вечера и в этом свете, далеко внизу, сначала Ситка, русская столица Аляски, а потом на горизонте вечно-снежные горы с самой высокой из них — Св. Илии. В Кодиаке, на маленьком аэродроме, уже сплошь духовенство, паломники. Сразу попадаешь в то, что будет фоном всех наших служб, молитв, бдений: первобытная красота Америки, ее гор, водной шири, высоких сосен, смиренных рыбацких лодок, какой-то подлинно Божией тишины и мира. Над поселком синие купола белой церковки, к которой отовсюду стекаются паломники. Только что кончилась всенощная. Объятия, приветствия съехавшихся со всех концов Америки священников, среди которых преобладают молодые, в Америке родившиеся и воспитавшиеся. В церкви, хотя служба и кончилась, полно молящихся, а посреди них — совсем простой деревянный гроб с сотнями озаряющих его своим золотым блеском свечей. Этот смиренный гроб был светоносным средоточием всех трех дней, не прекращался поток людей к нему, какая-то почти физически ощутимая волна любви...

В субботу 8 августа утром — литургия архиерейским чином и после нее — последняя панихида по Старце. Моление возглавляет наш Первосвятитель Митрополит Ириней. Около него — глава финляндской Церкви Архиепископ Павел, особый наш гость в эти дни, Митрополит болгарский Андрей и наши Владыки: Архиепископ

Чикагский Иоанн, Филадельфийский Киприан, Аляскинский Феодосий, Эдмонтонский Иоасаф, Берклейский Димитрий. Последний — первый епископ из прирожденных американцев, принявших Православие. И уже сотни молящихся, среди которых запоминаются праздничностью, детской сосредоточенностью и необычайной, в наше время, скромностью алеутские дети. (Как удивительно слышать от них, когда они подходят к причастию, сохраненные ими имена: Агрипина, Афиноген, Пантелеймон, Евсей...). И точно весь город участвует в торжестве, во всех витринах и окнах — изображение Старца Германа, приветствия паломника и украшения.



Икона св. Германа Аляскинского

Наступает субботний вечер. Начинается всенощная, которой, я уверен, не забыть тем, кто присутствовал и молился на ней. После псалма «Господи воззвах» первый раз раздаются песнопения службы Преподобного Германа. «Во смирении радостном, Преподобне Германе, приял еси подвиг послушания...».

В церкви не протолкнуться, но какой свет, какая радость на

всех лицах! Вот выходим на литию. С амвона оглашается послание Собора Епископов о прославлении старца Германа. Мы поднимаем гроб с мощами и выходим крестным ходом из храма. Первая остановка. Протодиакон начинает первое прошение литии. И вдруг — после перечисления всего славного сонма Апостолов, Святителей, Мучеников и Преподобных, прямо в сердце ударяют эти, точно с неба звучащие, слова: «и преподобного и Богоносного отца нашего Германа Аляскинского и всея Америки чудотворца!...». Люди плачут слезами радости и умиления и сияют лица Алеутов, дождавшихся прославления своего «Апа» — «дедушки»... Уже ночь, но она светится не только огнями свечей, но и духовным светом этого радостного бдения! Как удивительно поет хор молодых священников и паломников! Поет то по-славянски, то по-английски, то по-алеутски. И как очевидно прост этот постоянный переход с языка на язык, как ясно становится, что эта наша общая радость, общая молитва разрушает все земные преграды, такими пустыми и ненужными делает все наши человеческие споры и распри. Долго, с остановками обходим мы храм; все время меняются несущие мощи, все хотят этой блаженной тяжести на своих плечах, все хотят хоть на несколько минут прильнуть к этому гробу. Возвращаемся в церковь. В первый раз звучит тропарь Преподобному, на гробе с его мощами благословляются хлеб, вино, пшеница и елей литии.

Полиелей. Радостная, сладостная волна «величания»: «Ублажаем тя, Преподобне Отче Германе... наставниче монахов и собеседниче ангелов!». А потом нескончаемыми вереницами до поздней ночи подходят верующие к мощам и помазанию, совершаемому двумя архиереями, и нет усталости, не чувствуется времени, хочется, чтобы вечно длилась эта светозарная ночь, это бдение, и сердце узнает, что вся суть веры была раз и навсегда выражена Апостолом, сказавшим Христу на горе Преображения: «Господи, хорошо нам здесь быть...». Многие остаются на всю ночь в церкви, у мощей — петь акафист, исповедываться, продолжать стояние у человеческого гроба, еще раз силой Божией ставшего гробом живоносным.

В воскресенье первая литургия начинается в семь часов утра. Ее служит Аляскинский Епископ Феодосий с двумя архиереями и сонмом духовенства на гробе старца. Поет вся церковь, к причастию подходят сотни верующих. В убогой церквушке почти у полярного круга воскресает первохристианская Евхаристия, совершавшаяся в нищете катакомб, на гробах святых. «Ничего по-

добного этому мы никогда не испытывали», — говорят выходящие из церкви...

В 10 часов утра, при ярком солнечном свете, под ликующий колокольный звон, в храм в голубой мантии входит Митрополит Ириней, окруженный архиереями и начинается поздняя Литургия, вершина этого трехдневного торжества. Служба длится почти пять часов, но не ослабевает ни на минуту духовное напряжение, «радость и мир в Духе Святом», как определяет Ап. Павел Царство Божие. Проповедует Епископ Димитрий. Приобщают из двух чаш. И, наконец, выходим мы на последний крестный ход со святыми мощами. В нем все сливается в одно ликование — пение хора и звон колоколов, солнечный свет и бездонная синева неба, далекие горы и водяная гладь. Около меня идет старенький, бедно одетый алеут и плачет. И вспоминая эти дни, я все время снова и снова вижу его, словно икону самой сущности того, что совершилось тогда. Не могу забыть ни лица его, ни его нищей одежды, ни всего его образа — смирения и света. Если есть такие — жива Церковь, жива в самой сущности своей. Это — смирение и свет самого старца Германа, от него, от его духа, и да разольются они отсюда по всей этой земле, особенно в эти дни, когда такой злобой, такими страстями отравлена церковная жизнь.

Входим в храм и несем гроб прямо к приготовленной справа раке, где и запечатываем св. мощи. «Ко преподобному и Богоносному отцу нашему Герману помолимся!». Все опускаются на колени и от имени всех, от имени всей Церкви нашей, так нуждающейся в помощи, читает Владыка Феодосий молитву «...и ныне, егда исполнися слово Господне на тебе и постави тя Господь над Церковью нашей... молимся, да сохранит Господь ее в чистоте и православии... Всем же нам даждь духа мира и любви, дух кротости и смирения, гордыни отгнание, от самопревозношения ограждение...».

Последнее: на следующий день, рано-рано отправились мы — пятеро священников и Владыка Киприан, на Еловый остров, где около 30 лет провел в отшельничестве старец Герман. И знаю, что ничего лучше, чище, радостней не пережили мы, чем то утро, то восхождение по лесной тропинке мимо высоких, точно вечно совершающих бдение Творцу, сосен к часовенке над пещерой старца и литургию в этой часовенке. Я служил эту литургию, но это — неточные слова. Она совершалась, а нам нужно было только до конца отдаться ей, погрузиться в нее, войти без остатка в

это благодарение. Знаю также, что мы ничем не заслужили того, что нам было дано, могу только молиться, чтобы дано было нам сохранить хоть малую часть этого дара благодати.

Я не буду писать о других событиях этих дней — о праздничной трапезе, объединившей свыше 500 человек, о радости общения, об официальных приемах, на которых присутствовали губернатор штата, сенаторы, адмиралы военно-морского флота США. Все это было достойно, хорошо и нужно. Но все это было — земля и земное, а Бог дал нам приобщиться небу и небесному. Хочу особенно отметить светлый образ Владыки Павла Финляндского, покорившего всех нас своей мудростью, смирением, любовью.

В заключение скажу, что в этом свете, в этой радости такими мелочными, человеческими и греховными показались все наши споры, обвинения и осуждения. Все время казалось: если бы мы смиренно отдали себя этой радости, мы бы без слов поняли в **чем** и о **чем** Церковь, и как чешуя спали бы с нее злоба, подозрения и разделения. Там у гроба Преп. Германа, в сиянии его смирения, дано нам было изведать ту **реальность**, которая одна, по настоящему, животворит Церковь, которую одну призвана она являть в мире, которой одной только и может побеждать в нем все силы зла. Преподобне отче Германи, моли Бога о нас!

**Протопресвитер Александр Шмеман.**

В. ДЕРЮГИН

### **В ЧЕМ ЖЕ ВИНОВАТ ОТЕЦ ПАВЕЛ АДЕЛЬГЕЙМ?**

«Хроника текущих событий» № 13 (30.VI.1970 г., стр. 31) сообщила, что в декабре 1969 года был арестован в городе Кагане, Бухарской области Узбекской ССР, настоятель местной православной церкви священник Павел Адельгейм.

12 июля 1970 года, «Правда Востока» напечатала статью «Из жития «святого» Павла», в которой пишется, что отец Павел «угодил под следствие и скоро предстанет перед народным судом».

26 июля 1970 года, «Правда Востока» напечатала статью «Отец Павел без маски», в которой дается несколько намеков на то, за что осудили о. Павла Адельгейма.

Прочитав эти три статьи, невольно поднимается несколько вопросов: почему официальная пресса так долго (7 или 8 месяцев) молчала об этом аресте? Почему ни одна из статей «Правды Востока» не указывает определенно ни статью, по которой о. Павел обвинен, ни к чему он приговорен? Что осталось недосказанным?

Начнем с причины ареста и осуждения о. Павла. Никакого конкретного обвинения ни одна из статей «Правды Востока» не предъявляет. Но статья 12 июля намекает на официальную причину осуждения:

«[о. Павел] используя свое духовное положение, систематически занимался посягательством на личность и права несовершеннолетних».

«Его будут судить за уголовное преступление, преступление перед обществом».

Статья 26 июля добавляет еще один намек-обвинение:

«...народный суд слушал дело по обвинению... Павла Адельгейма в истязаниях несовершеннолетних детей, посягательство на личность и права ее».

«Хроника текущих событий» № 13 пишет:

«Церковная деятельность его (о. Павла) была безупречна с точки зрения гражданского права».

Посягательство о. Павла на личность несовершеннолетних



детей, согласно «Правде Востока», выразалось в попытке привлечь к Церкви Таню и Витю Шкурунок, и Галю Шамсугдинову. По этому вопросу обе газетные статьи сходятся. Статья 12 июля пишет:

«Расчет его был прост: ...заслужить расположение духовного начальства обращением Тани и Виктора в лоно церкви».

А статья 26 июля пишет:

«...о. Павел... имел дальний прицел — обратить их (Таню и Виктора Шкурунок и Галю Шамсугдинову) в лоно Церкви».

Это довольно странное обвинение, так как декрет «Об отделении Церкви от государства», отделяя школу от Церкви, в то же время предоставляет право **всем** гражданам, независимо от возраста, обучать и обучаться религии частным образом. «Правда Востока» не скрывает того факта, что о. Павел действовал с разрешения матери этих детей. Повидимому и дети не только не протестовали, но были привязаны к о. Павлу. Таня переписывалась с ним, он возил ее вместе со своими детьми на дачу, часто и подолгу с ребятами беседовал («Правда Востока» 12 июля). Другими словами, о. Павел внимал словам своего Бога, Христа: «пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие...» (Мр. 10, 13-14).

Обвинение в истязании несовершеннолетних — совсем другое дело. Если, как утверждает статья в «Правде Востока» от 12 июля, о. Павла судили по обвинению в побоях и истязаниях, то ему грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылка до пяти лет (УК УзССР), стр. 93).

Вот в чем газета обвинила о. Павла:

«Шестнадцатилетнюю девушку «батюшка Павел» бьет резиновым шлангом, «сняв все, даже трусики!» (Правда Востока» 12 июля).

«Отец Павел избивает свою жену...» (там же).

«Политику пряника он (о. Павел) сменил на политику кнута, избивал и Таню, и Галю». («Правда Востока» 26 июля 1970 г.).

Статьи подтверждают эти обвинения показаниями нескольких лиц:

«В доме Адельгеймов я услышала крики его жены, матушки Веры. Я открыла дверь и увидела в руках возбужденного о. Павла плетку из телефонных проводов красного цвета. Матушка Вера лежала на кровати и плакала». (Правда Востока» 12 июля 1970 г.; показание одной из свидетелей, бывшей старосты Каганского прихода).

«...два раза уходила из дома потому, что приезжал из Кагана знакомый мамин, и они меня сильно били».

(Правда Востока» 12 июля 1970 г.). (Из показания Т. Шкурунок в заводской комитет).

«В июле приезжал батюшка Павел. Бил он ее (Таню) шлангом, сняв все, даже трусики. 2 ноября снова приезжал и снова бил ее шлангом». (Правда Востока» 12 июля 1970 г.) (из заявления соседей Шкурунок, Н. И.).

Кроме этих показаний, есть письмо монахини Ташкентского кафедрального собора Е. Х. Миллер отцу Павлу:

«То чудовищное, что вы творите... не могу понять. Здесь холодная, рассудочная жестокость... как низко, подло издеваться над беззащитной, слабой женщиной!» (Правда Востока» 26 июля 1970 г.).

И суждение верующих:

«Сами верующие видят садиста в о. Павле, человека жестокого, и недостойного носить сан проповедника» (там же).

Но ведь эта же мать Евгения и эти же верующие любили и уважали о. Павла:

«Сама мать Евгения, в миру Евгения Христиановна Миллер, пользующаяся среди верующих неограниченной властью (?? — В. Д.) и авторитетом, благосклонно отнеслась к Павлу, считая его примерным служителем церкви (sic)». («Правда Востока» 12 июля 1970 г.).

«Адельгейм быстро завоевал сердца верующих» (там же).

«Послушать проповеди о. Павла сходились верующие со всего Кагана» (там же).

«Проповедник казался им таким вдохновенным, его глаза излучали такой яркий свет веры, что они (верующие) снова и снова шли послушать сладкогласного батюшку» (там же).

Судя по противоречиям, совершенно ясно, что в попытке дискредитировать о. Павла или первая, или вторая статья умышленно говорит неправду; осталось только выяснить, где правда, где ложь. Третий источник, «Хроника текущих событий» (/№ 13), отличающаяся объективностью и правдивостью информации, показывает, что статья 12 июля, которая описывает положительные стороны о. Павла, ближе к правде:

«Молодой, образованный священник, хороший проповедник, Павел Адельгейм пользовался большой любовью и авторитетом среди прихожан».

Как же совместить такие противоречия: любовь верующих к о. Павлу подтверждается и «Хроникой текущих событий» и «Правдой Востока», с ссылкой той же «Правды Востока» на якобы подлинные последние разоблачительные письма верующих к о. Павлу?

Очень возможно, что ответ скрыт в другом письме о. Павлу от прихожан:

«Сейчас (подчеркнуто мною — В. Д.) только и слышны всякие кривотолки, что вы стали заниматься такими делами, что они бросаются в глаза...» («Правда Востока» 12 июля 1970 года).

Значит, что «сейчас слышны» плохие слухи про о. Павла, а раньше их не было! И похоже на то, что слухи эти исходят не от прихожан, а прихожане их слышат со стороны — не от КГБ ли? Повидимому, кампания дискредитации о. Павла велась как подготовка к его аресту. Иначе трудно объяснить перемену отношений со стороны верующих, матери Евгении и молодых людей, которых о. Павел якобы избивал.

Говоря о дискредитации и противоречиях, стоит отметить еще несколько примеров. Например, трудно себе представить, чтобы садист написал следующее:

«У меня есть цель в жизни. Я хочу победить в себе порочную натуру, я хочу победить в себе проклятый порок, проклятый эгоизм. Я хочу сделать себя настоящим человеком, т. е. добрым, великодушным, честным, ...чтобы ежеминутно побеждать эгоизм и жить не для собственного удовольствия, а чтобы видеть, как вокруг меня людям становится легче и радостнее жить, как от общения со мной очищались бы они тоже, заражались примером, ...становились чище и лучше». (Правда Востока» 12 июля 1970 г.).

В процессе дискредитации газета пишет, что о. Павел не верит ни в Бога, ни в черта, и что любая старушка, исповедовавшаяся отцу Павлу, куда более искренна в отношении религии, чем ее исповедник. Это жестокое для священника обвинение автор «доказывает» тем, что в вышеуказанной цитате о. Павел ни разу не упомянул Бога:

«...ни слова о боге (sic) — «я», «у меня», «от меня». В актерском запале о. Павел «на минуточку забыл, что пастве вроде бы пристало брать пример с бога (sic): нет, он намерен предложить себя в качестве образца».

Автор, В. Ефимов, повидимому не знаком с той заповедью Бога, которой в данном примере о. Павел следовал: не поминай Господа Бога твоего всуе. Ефимов также утверждает, что эти слова о. Павел написал «явно в расчете на умиление всякому, кому они попадутся в руки». Но тут же он пишет, что эти слова он нашел в дневнике о. Павла; а дневник скорее сборник сокровенных мыслей человека и не предназначается для печати, так что не совсем ясно о чем «умилении» говорит автор (1).

Скорее свидетельством веры о. Павла является то, что в его библиотеке при обыске нашли «сугубо религиозную литературу».

Длительное молчание и попытка дискредитировать о. Павла сами по себе подозрительны. Вероятно разъяснение можно найти во второй половине статьи «Правды Востока» 26 июля:

«На суде выяснилась еще одна сторона «деятельности» о. Павла. Он подготовлял и распространял литературу, содержащую клевету на государственный и общественный строй нашей страны...» (2).

Тут картина совсем меняется и появляется много возможных объяснений пока что неясных событий. Но сперва коснемся видов

(1) Само собой разумеется, что возникает вопрос о том, каким образом автор получил доступ к личному дневнику о. Павла. Возможен только один ответ — от тех лиц, которые вели у него обыск, т. е. следственных органов. Но, так как Ефимов пишет до судебного процесса, то опубликование этого судебного документа — грубейший пример оказания предварительного политического давления прессой на решение суда. Против этого обычного явления в СССР уже много лет восстает юридическая печать и передовые советские юристы. На Западе такие статьи (до судебного приговора) преследуются, как клевета.

(2) Вряд ли «на суде» выяснилась самиздатовская деятельность о. Павла, скорее всего об этой деятельности КГБ знал даже до обыска квартиры подсудимого.

«антисоветской клеветы», которую якобы распространял о. Павел. Повидимому тут произведения самого о. Павла, и работы других авторов. Статья «Отец Павел без маски» дает следующий пример работы священника (это из его высказываний):

«Теперь не Пушкин должен быть примером поэту, другие времена теперь пришли. Христианским высшим воспитанием должен воспитываться теперь поэт. Теперь он выступает на битву не за временную нашу свободу, права и привилегии, но за нашу душу. Ей предстоит возвернуть в общество то, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью».

Кроме того у о. Павла есть выпады против и атеизма и марксизма:

«Атеизм, проповедуемый марксизмом, является слепотой, за которую человек и общество серьезно расплачиваются».

«Огромная область познания изъята из школьной программы: познание о Творце мира и Человеке-Богe. Отчего? Говорят, что это знания маловажные и не обязательны. Так могут говорить только люди невежественные или лукавые» (3).

Статья 26 июля так же обвиняет о. Павла в том, что

«Подолгу стучала машинка в доме Адельгейма. Много часов по ночам прислушивался он к всевозможным голосам в эфире, переписывая ярко выраженную антисоветчину».

Более точно, это письмо 1965 года о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина Патриарху Всея Руси Алексию (ныне почив-

(3) За похожие выступления получились неприятности у архиепископа Ермогена (ныне на покое в Жировицком монастыре). Владыка Ермоген ответил на какую-то атеистическую статью и между ним и прессой началась полемика. Так как газеты напечатали только первое из многих писем Владыки Ермогена, а дальнейшие его ответы отказались публиковать, то Владыка Ермоген приказал читать их с амвона всех церквей своей епархии. Выше упомянутая статья о. Павла тоже была выражена в виде проповеди — с амвона. Кроме того, и архиепископ Ермоген, и о. Павел Адельгейм умудрились сделать фактически невозможную вещь в условиях Советского строя: оба построили церкви. Но судьбы этих двух лиц по случайности различны. Каким-то образом в Московской Патриархии узнали, что против архиепископа Ермогена КГБ готовит дело, и что ему грозит арест и осуждение. Патриархия быстро перевела Владыку Ермогена из Ташкентской епархии в Калужскую, этим предвзятое действие со стороны КГБ.

ший). Кроме этого письма, у о. Павла нашли «Голос родного Православия» (4), в котором содержится якобы клевета о том, что существуют гонения на верующих в СССР, что отсутствует свобода совести, что уничтожаются церкви и т. д. В числе авторов этой «клеветы» упоминается архиепископ Иоанн (Западно-американский и Сан-Францисский) и Анатолий Левитин (Краснов).

Значит, появляется третья статья уголовного кодекса, по которой, возможно, обвинили о. Павла — статья 60-я УК УзССР (антисоветская пропаганда, наказуемая лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и с ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или с ссылкой на срок от двух до пяти лет (5)). Эта статья соответствует статье 70-ой УК РСФСР (6), о которой газета не говорит ни слова.

Если о. Павел занимался и пастырской деятельностью, «Самиздатом», и сугубо религиозной литературой, и одновременно жестоко избивал чужих малолетних, свою жену и своего четырехлетнего ребенка, то такая комбинация деятельности показывает его явную душевную болезнь — раздвоение личности, шизофрению. Но тогда возникает вопрос: почему таких людей, как Петр Григоренко и Наталья Горбаневская, держат в психиатрических больницах, а явно невменяемого человека судят как нормального, и в статьях, говорящих о его садизме даже не упоминается о психиатрической экспертизе? Что бы ни было, одно остается ясным: официальная пресса что-то умалчивает и скрывает насчет дела о. Павла Адельгейма.

Возможно, что в связи с его самоиздательской деятельностью, о. Павла, обвиненного газетой в преступлениях, наказуемых по 93-й статье УК УзССР, на самом деле судили за участие в Демократическом движении, т. е. по статье 60-й УК УзССР или по статье соответствующей 19-й УК РСФСР. Другими словами, вероятно, чтобы скрыть, что о. Павел осужден за веру или за отстаивание свободы совести, печати и слова, государственные органы сфабриковали обвинения в посягательстве на личность и истязании несовершеннолетних.

(4) Точно, что такое «Голос родного Православия» неизвестно; можно предположить, что это неизвестное нам самиздатовское религиозное периодическое издание.

(5) «Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик», том I, стр. 352.

(6) За обычное распространение Самиздата нормально судят по ст. 190 УК РСФСР и по соответствующим статьям союзных республик.

## ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

### ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

“...Читал один из последних номеров журнала РСХД. Мне кажется, что направление его становится странным. Помните, что еще в каком-то номере, года два тому назад, высказывалось возмущение тем, что у нас не печатают некоторых писателей, в частности Розанова. Теперь в журнале опубликована большая статья о Розанове. На примере этого писателя можно скорее изучать психологию антихристианства, чем учиться христианству. Credo Розанова, которое он высказывал сам, это “что бы я ни делал — все хорошо потому, что это делаю я. Сегодня мне хочется богохульствовать — хорошо, так как это я. Завтра мне хочется “быть христианином” — хорошо, потому что это я”. То есть его самость могла принимать какие угодно формы, в том числе и христианские **формы**. Поэтому Розанов мог многократно отказываться то от того, то от другого, и он никогда (насколько по крайней мере это известно) не отказался и не покаялся в своем основном самостном Credo, т. е. никогда не стал христианином. То, что он высказывал якобы христианские мысли только проясняет нам, что слова зачастую ограничены в своей возможности выразить истину. Возможно, что ко времени антихриста человеку, желающему выразить истину словами, трудно будет это сделать, так как он будет вынужден для выражения истины употребить те же слова, что другой для выражения лжи.

Создается впечатление, что те, кто пишет подобные статьи в журнале ошибочно полагают, что сущность христианства заключается в высказывании “христианских мыслей”, в то время как христианство есть подчинение Богу, а не своей самости, как это делал Розанов, то-есть он никогда не высказывал христианских мыслей.

Поэтому его враждебные христианству высказывания менее опасны, чем якобы христианские, так как не вводят, по крайней мере, в заблуждение. Лучше его нехристианские статьи, чем “христианские”. Христианин может только радоваться, что такая опасность, как Розанов, несколько удалена от нас, так как для христианина важно его духовное развитие и он удаляет то, что ему мешает, а не коллекционирует “интересных мыслителей”. То-есть он заботится о том, чтобы с его пути было устранено как можно большее количество препятствий, а не о том, что государство запрещает или не запрещает печатать каких-либо сомнительных философов. Случай с Розановым только один из примеров того, что журналу грозит опасность взять поверхностное и в сущности нехристианское направление скорее пропаганды интересной “культурной” жизни, приправленной “для полноты” религией, чем жизни всецело по Воле Божией среди стихий мира сего. Такая пропаганда журнала может привлечь и привлекает уже в Церковь людей ищущих в религии этой особенно утонченной жизни, то-есть людей, которые принимают утонченность своей самости за духовную жизнь (в то время, как вера есть отказ от самости).

Деятельность этих людей, в сущности нехристиан в Церкви (т. е. по существу Церкви не принадлежащих) будет создавать и уже создает у нас такие затруднения для Церкви, какие никогда не могут быть созданы никакими внешними условиями, например, революциями, преследованиями и пр...”.

### ПО ПОВОДУ «АВТОКЕФАЛИИ» АМЕРИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Ответ Н. А. Струве

К моему глубокому сожалению, последний номер «Вестника» (№ 95-96) ознаменовался поспешным суждением об автокефалии Православной Церкви в Америке. Эта редакционная статья была подписана Вами. Возможно, что Ваши мысли разделяются редакционной коллегией, но «Вестник» является ведь органом РСХД, для членов которого эти высказанные Вами мысли не обязательны. Вопрос об автокефалии Православной Церкви в Америке столь же сложный сколь и спорный. Он требует внимательного и углубленного рассмотрения. По моему мнению, именно такого углубленного рассмотрения и не было в том материале, который Вы поместили по этому вопросу в «Вестнике».

Редакционная статья дала благожелательную оценку автокефалии с точки зрения пользы, удобства и перспектив на будущее. Но **моральной** оценке получение автокефалии подвергнуто не было. Правильно ли это? Не должен ли моральный вопрос быть для нас **наипервейшим**? Очень огорчительно, что именно этот момент в редакционной статье «Вестника» был отмечен только мимоходом, причем с саркастическим оттенком, когда упоминались «круги правой русской эмиграции» как, якобы, единственные отрицающие автокефалию.

Деление на правых и на левых — понятие устарелое и вряд ли Вы сами, Никита Алексеевич, согласились бы теперь быть причисленным к тем «левым», которые существовали во времена актуальности этих терминов. Ради объективности я должен сказать, что знаю множество и рядовых людей, ничего общего с «правыми» не имеющих, и людей выдающихся из интеллигенции и из так наз. новой эмиграции, которые все являются противниками автокефалии.

Но в этом письме я хочу коснуться главным образом одной стороны вопроса, которая для меня основная и которую Вы называли «моральным осквернением». Думаю, что все наше отношение к вопросу Американской автокефалии должно измеряться прежде

всего моральной оценкой. Сознательно или бессознательно, но Вы вашей статьёй отводите внимание читателя от этой главной темы. Наверно Вы недостаточно информированы о происходящем в Америке. Противники автокефалии, сколько я понимаю, исходят не из того, что переговоры с **Русской Церковью** морально осквернительны, а из того, что теперешняя Русская Церковь в Советском Союзе не существует как величина могущая вести какие-либо свободные переговоры. Такой реальности просто-напросто нет. Есть только **видимость** свободной Русской Церкви, которая может произносить лишь те слова и совершать лишь те действия, которые ей предписаны ее порабителами. В этом моем утверждении ничего нового нет. К счастью «Вестника», его прошлые номера полны подобных же высказываний. Люди, ведущие переговоры с Московской Иерархией, ведут их с пустым местом, с несуществующей величиной, так как Церковь в России, лишённая свободы, не может сама по себе ничего ни решать ни предпринимать. Ведущие переговоры, конечно, это хорошо знают и все же переговоры ведут. Вот тут и начинается самое для нас страшное.

Вы помните, Никита Алексеевич, первое **большое** письмо, полученное «Вестником» из России, где говорилось (6-ая страница), что ложь, в которой они там живут, проистекает не только от «глубочайшей лжи советской власти», но что она проникает и в жизнь каждого... «я являюсь пособником (зла) хотя бы тем уже, что **изображаю** будто бы живу нормальной и полнокровной жизнью».

Приложите эти слова к проблеме автокефалии и Вы соприкоснетесь с основой ее моральной недопустимости, соприкоснетесь с центром вопроса.

Томос написан «по чину», подписан архиереями... и представители свободного православия на западе **«изображают»** дело так, будто они всерьез верят, что имеют дело с волеизволением Русской Церкви, а не ее порабителей, которое только выполняется нашими братьями во Христе — рабами в рясах.

Не дело «Вестника» солидаризироваться с теми, кто этим «изобразительством» занимается, если «Вестник» хочет быть свободным голосом тех, кто видит в идеях Движения путь к воцерковлению жизни, путь духовного оздоровления сознания нашего родного народа.

Движение и «Вестник» нужны духовным процессам, происходящим сейчас в России, ибо «Вестник» и Движение могут громко говорить то, что думают и переживают там, но высказать не имеют возможности.

Всякие наши неустоявшиеся высказывания могут только вредить «Вестнику» и Движению в целом. Одно дело полемические статьи на страницах «Вестника», а другое дело статья редакционная.

Мы достаточно хорошо знаем какой невероятно высокой ценой платят сейчас лучшие сыны России за право не идти на компромисс, не склоняться перед ложью не только власти, но и слишком покорных иерархов. Очень часто это люди не только светские, но и вообще не познавшие еще Христа. Не людям церковным, а людям стоящим вне церкви принадлежит сейчас ведущее положение среди мужественных, бесстрашных, несклоняемых будителей совести. Их хорошо назвали «церковью людей доброй воли». Нам, церковным людям, нужно бы было равняться на их доблесть и их добрую волю стараться обосновать христианской глубиной и церковным разумом. И делать нам это надо в большом смирении, помня, что мы не что иное как верстовой столб, который «дорогу указывает, а сам по ней не ходит». Не дай Господь нам и в указании дороги говорить не от правды Христовой, а от своего высокоумия.

В заключительной части статьи Вы выражаете пожелание, что бы и другие Церкви русского зарубежья уподобились Митрополии в США. «Только на этом пути рассеяние будет свидетельствовать об истине Православия», заключаете Вы. Неужели, Никита Алексеевич, эту фразу написали Вы? Неужели русский эмигрант только тогда выполнит свою задачу, когда перестанет быть русским, а станет африканцем, австралийцем? И это мнение Вас — редактора книги «Церковь и Россия», сборника статей Ключевского? Неужели Вы действительно думаете, что «только» на путях внешнего устройства церковной структуры — «принцип поместности» — «свидетельствует об истине Православия»? Как это совместить с только что отредактированной Вами книгой об отце Алексее Мечеве?

Простите, дорогой Никита Алексеевич, но я в полном недоумении как это все совмещается.

**Протоиерей Александр Киселев.**

Нью-Йорк, сентябрь 1970 г.

## КОНЧИНА ПРОФ. П. Н. ЕВДОКИМОВА

16 сентября в Париже скончался профессор Богословского Института и крупный экуменический деятель Павел Николаевич Евдокимов. Покойный родился в 1900 году в Петербурге, учился в кадетском корпусе, а после переезда в Киев поступил в Киевскую Духовную Академию. В 1920 году он покинул Россию и поселился с матерью и братом в Кламаре. Начиная с 1923 года он принял близкое участие в организации православных и христианских кружков и руководил одним из них. Как только открылись занятия в Богословском Институте на Сергиевском Подворье, он поступил туда студентом и окончил курс с дипломом первой степени в 1928 году.

В дальнейшем направлении его деятельности сыграла решающую роль выдающаяся работница протестантского движения — Наталия Брюнель, которая приблизилась к православию, одна из первых подняла вопрос неприменимости к православным интерконфессионализма и о необходимости, наоборот, для них углубить свою собственную веру. Н. Брюнель перешла в православие, стала женой П. Н. Евдокимова и его помощницей в деле сближения православных и протестантов. Во время войны П. Н. работал сперва в Лионе и Валансе, а потом на юге Франции и защитил в Эксе диссертацию на Историко-филологическом факультете. К этому же времени относятся два первых его труда: Достоевский и проблема зла (1942) и Брак — таинство любви (1944).

После войны деятельность П. Н. была тройкой. С одной стороны, он был одним из возглавителей СИМАДЕ, международной протестантской помощи беженцам и перемещенным лицам, которая делала очень большое как благотворительное, так и просветительное дело. Во-вторых, ему было поручено заведование студенческим домом в Бьевре, а потом студенческим центром в Севре и в Масси Веррьер под Парижем. Наконец, он был



П. Н. Евдокимов

приглашен читать лекции о православии в международном протестантском центре в Боссей под Женевой и других экуменических центрах.

Последние годы он был профессором нравственного богословия в Православном Богословском Институте на Сергиевском Подворье. Из его крупных трудов назовем: “Жена и спасение мира” (1958), “Православие” (1959), “Тоголь и Достоевский” (1961), новое вновь переработанное издание “Таинство Брака” (1962), “Возрасты духовной жизни” (1964) и “Молитва Восточной Церкви” (1966).

Все книги П. Н. Евдокимова вышли по-французски и (необходимо это отметить) в католических и в протестантских издательствах.

В последний год жизни Павел Николаевич выпустил целых три книги: о Святом Духе, о Христе в русском богословии, о смысле иконы.

Сын П. Н. Михаил Евдокимов — преподает сравнительное литературоведение в Университете в Пуатье и, одновременно, регент французского хора в нижнем храме на рю Дарю. Дочь продолжает экуменическую работу отца, а вторая жена, православная японка, была также ему верной помощницей и сотрудницей.

Похороны П. Н. Евдокимова состоялись в нижнем храме Кафедрального собора 18 сентября. Служило 7 священников, а на амвоне присутствовали арх. Георгий и митр. Мелетий и представители протестантов и католиков. Пел хор, управляемый сыном почившего. После отпевания гроб был отвезен для погребения на кладбище в Сент-Женевьев.

П. Ковалевский.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### О ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Архимандрит Александр (Семенов Тянь-Шанский) **Пути Христовы**, проповеди и статьи, УМСА-PRESS, Париж, 1969, 297 стр.

В тридцатые годы покойный Г. П. Федотов писал, помнится, о кризисе проповеди. Кризис этот он видел не столько в иссякании проповеднического дара, сколько в утере православным проповедничеством целостного стиля, соответствующего языка. Действительно, вряд ли кто будет спорить с тем, что проповедь давно уже выродилась у нас либо в скучный, сентиментальный и нравоучительный штамп, преподносимый на каком-то особом и пресном, не совсем русском, но и не совсем славянском языке, либо же в отвлеченную лекцию. В обоих случаях она перестала быть органической частью богослужения или, еще шире, церковной жизни, естественным и необходимым выражением христианства как вечно новой, вечно благой и животворящей “вести”. Причины этого вырождения сложны и многообразны и среди них не последнее место занимают, с одной стороны, глубокое расцерковление нашего так наз. “образованного” общества, утеря им интереса к содержанию христианской веры, а с другой, трагическое раздвоение в России, после Петра

Великого, между культурой церковной и культурой “светской”, утеря ими общего языка и взаимного понимания. Так или иначе, но проповедь попала у нас постепенно в разряд скучных и побочных явлений церковной жизни, добренных, увы, частенько сомнительным семинарским юмором. Предпочитаться стала (и часто с основанием) служба без проповеди, что привело уже к трагическому отсутствию в Церкви **учительства**, а потому и понимания верующими своей веры. Если Церковь все еще “окормляет” нужды людей, она все меньше и меньше **учит...**

В связи с вышесказанным совсем особое значение приобретает вышедший недавно сборник проповедей о. Александра Семенова Тянь-Шанского. Впервые за долгое время перед нами яркое свидетельство того, что живая, глубокая, подлинная проповедь **возможна**, и становится почти страшным сознание, что так долго ее не было, что Церковь фактически жила без этой первейшей и основной функции благовествования.

Что делает сборник этот несомненной удачей, бесспорным и драгоценным вкладом в сокровищницу православной проповеди, а может быть, даже и началом некоего возрождения церковного проповедничества? Я перечислю причины этой удачи в том порядке, в котором они открывались мне по мере чтения и перечитывания проповедей о. Александра.

На самое первое место я ставлю печать **личного опыта**, лежащую на каждой странице этой книги. О. Александр, всесторонне-образованный и тонкий богослов: он мог бы, как это так часто делали другие, раскрывать нам так сказать “объективное” содержание того или другого праздника или события, умело и удачно передавать и чужой опыт. Но этого как раз нет в его книге. В ней все, прежде всего, свидетельство о пережитом, увиденном, почувствованном и осознанном. Это опыт Церкви, но ставший до конца личным опытом. Поэтому хотя проповеди о. Александра написаны на вполне традиционном языке, почти нарочито лишенном всего “личного”, без каких бы то ни было намеков на попытки сломать или обновить традиционный стиль, они ощущаются как нечто глубоко подлинное. Говорит человек, для которого то, о чем он говорит, стало жизнью, реальностью, опытом. И это лишний раз доказывает, что столь модные в наше время попытки начать не с содержания, а с отвлеченных вопросов стиля, “структур”, “приемлемости” или “неприемлемости” того или иного для “современного” человека — попытки, в сущности, праздные. Когда “от избытка сердца глаголют уста” — то, что они глаголют — доходит, передается, воспринимается.

Второе — это глубоко **пастырское** вдохновение этой книги. В ней все время чувствуется живая забота о душе человеческой, забота о том, чтобы сказанное было не только понятно, но именно воспринято, вошло бы в личный опыт слушающего. Наше богословие давно уже перестало быть “пастырским”, каким было оно у св. Отцов, а наша проповедь перестала вдохновляться богословием, быть передачей церковного умозрения. Отсюда очень часто несоответствие между **максимализмом** богословия и **минимализмом** пастырства, и, в первую очередь, проповеди. Богослов легко и спокойно, так сказать “академически” рассуждает об обоении, преображении мира, космическом вдохновении христианства и т. д. А пастырь весь погруженный в реальную, будничную жизнь церк-

ви, хорошо знающий минимализм христианской жизни, на этом же минимализме строит обычно и свое проповедничество. С одной стороны, огненная весть о “новом небе и новой земле”, с другой — элементарная мораль. Этого несоответствия и раздвоения нет у о. Александра. И не только в том смысле, что говоря о догматах, он не забывает, как говорилось в старых учебниках, и их “нравственного приложения”. У него всегда богословское умозрение само ощущается как та сила, которая одна может по-настоящему пробудить душу от сна, наполнить ее светом, подвинуть ее на “делание”. Он не преуменьшает ни слабости человеческой, ни силы зла и греха на земле. Но вместе с тем, он спокойно и твердо указывает на свет, явленный в мир Христом, и знает, что увидеть этот свет — уже значит начать борьбу со злом.

Отсюда и это мое третье замечание — пронизывающая всю книгу ровная, духовная радость. В наши дни всевозможных “кризисов” христианское сознание все очевиднее поляризуется между каким-то апокалипсическим испугом, с одной стороны, и каким-то упрощенным и поверхностным “мирским” оптимизмом (не радостью!), с другой. Но подлинный ключ к христианству не в пессимизме и не в оптимизме, а именно в “радости”, ибо радость эта, действительно “не от мира сего”, а от уже узренного, уже пережитого явления Царства Божия внутри нас и посреди нас. Этой духовной радостью, не исключающей ни печали о грехе, ни спасительного страха Божия, ни покаяния, ни скорби за людей и за их слепоту и пронизана книга о. Александра. Радость о глубине и красоте дара Божьего людям. Радость о Церкви и об ее богочеловеческой жизни. Радость о вечной жизни, которую уже здесь, на земле, дает нам Церковь вкусить. Радость о благодати, о близости Божьей, о данной нам возможности знать Бога и жить в Нем и с Ним.

И, наконец, последнее — **язык**. О. Александр **нашел**, услышал, воплотил язык церковной проповеди, одновременно **высокий** и понятный, простой и глубокий. Даже отдельные его “срывы” только подчеркивают, какая трудная задача стояла перед ним и сколь велика его удача...

Можно было бы, конечно, указать на некоторые недочеты книги о. Александра. Не все проповеди удалась ему в равной мере, одни лучше, другие менее хороши, одни “доходят” больше, чем другие. Но об этом не хочется говорить и не потому, что это, скажем, огорчило бы автора. А потому, что перед нами не литературное или научное произведение, а живое слово о Боге, и к этому слову не применимы наши обычные оценки. Важно то, что “риторики” ради риторики, блеска ради блеска, “ораторства”, нет нигде в этой книге. Я говорил о радости, пронизывающей ее. Нужно было бы прибавить и страх Божий — это постоянно ощущаемое желание проповедника скрыться за величием и светом возвещаемого. И потому, — если что-то не “доходит”, то не потому ли, что мы сами еще не готовы услышать, принять, понять...

“Тайна возвещается, тайна благовествуется, но тайна — все же остается тайной”. Эти слова из прекрасной проповеди о. Александра на Благовещение хотелось бы поставить эпиграфом ко всей его книге. И в этом ее духовная удача. Она не утоляет, а усиливает жажду, она своим светом призывает к свету, но в этом и состоит назначение проповеди.

Я хочу закончить эту краткую рецензию советом, читать эту книгу, не как всякую другую книгу, а исполняя ее назначение: в те дни и праздники, для которых составлены отдельные проповеди. Иными словами, сделать ее частью нашей собственной подготовки к "празднованию", и к вхождению в него.

О. Александр сделал нам большой и драгоценный подарок. Своей книгой он как бы вернул нас к тем дням, когда проповедь лилась из самого сердца церковной жизни, из его богослужения, из той радостной "реальности" Церкви, которая и являет нам уже в этой жизни тайну Царства Божьего. Вот почему я вижу в его книге начало возможного и нужного возрождения церковной проповеди.

**Прот. Александр Шмеман.**

Редакция «Вестника» счастлива сообщить читателям об освобождении известного церковного писателя Анатолия Краснова-Левитина в августе этого года, после 11-месячного заключения. А. Краснов-Левитин предстал перед Краснодарским судом, который отказался от обвинения в распространении антисоветской клеветы.

В ближайшем номере «Вестника» появится большая работа А. Краснова-Левитина о Соборе 1961 года.

---

**Обзоры книг и журналов, а так же хроника Движения, в виду обилия материала переносятся на следующий номер.**

---

---

## **РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ**

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

---



|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| От редакции . . . . .                                                                                              | 1   |
| СУДЬБЫ РОССИИ                                                                                                      |     |
| METANOIA — N. N. . . . .                                                                                           | 4   |
| Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура — О. Алтаев                                                        | 8   |
| Русский мессианизм и новое национальное сознание — В. Горский                                                      | 33  |
| Как быть? — М. Челнов . . . . .                                                                                    | 69  |
| Чудо — А. Устинов (окончание) . . . . .                                                                            | 81  |
| ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ НА ЗАПАДЕ                                                                                       |     |
| Памяти Франсуа Мориака — Никита Струве . . . . .                                                                   | 97  |
| Беседа с Франсуа Мориаком — (перевод Е. С.) . . . . .                                                              | 100 |
| ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ                                                                                                 |     |
| Из литературного наследия О. Мандельштама                                                                          |     |
| Двадцать два неизданных стихотворения . . . . .                                                                    | 107 |
| Неизданное письмо к В. В. Гиппиусу . . . . .                                                                       | 118 |
| Статьи О. Мандельштама, не вошедшие в трехтомник . . . . .                                                         | 120 |
| Из воспоминаний о Мандельштаме — Н. Я. Мандельштам . . . . .                                                       | 125 |
| Стихотворение А. А. Ахматовой, посвященное О. Мандельштаму                                                         | 136 |
| Судьба поэта — Э. Юрский . . . . .                                                                                 | 137 |
| По поводу трехтомного собрания сочинений Мандельштама —<br>Г. Дальний . . . . .                                    | 140 |
| К 50-летию со дня смерти кн. Е. Н. Трубецкого                                                                      |     |
| Памяти князя Е. Н. Трубецкого — свящ. С. Булгаков . . . . .                                                        | 145 |
| Неизданное письмо князя Е. Трубецкого Н. Г. Яшвилу . . . . .                                                       | 148 |
| ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ                                                                                             |     |
| Хроника из жизни в СССР                                                                                            |     |
| Вот как мы живем — А. Солженицын . . . . .                                                                         | 149 |
| Письмо А. Сахарова к тов. Л. И. Брежневу по поводу заключения<br>Ж. Медведева в психиатрическую больницу . . . . . | 150 |
| Хроника церковной жизни                                                                                            |     |
| Прославление преп. Германа Аляскинского — Прот. А. Шмеман . . . . .                                                | 152 |
| В чем виноват о. Павел Адельгейм — В. Дерюжен . . . . .                                                            | 157 |
| ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ                                                                                                   |     |
| Письмо из России . . . . .                                                                                         | 164 |
| По поводу "Автокефалии" Американской церкви — Прот. А. Киселев                                                     | 165 |
| Кончина проф. П. Н. Евдокимова — П. Е. Ковалевский . . . . .                                                       | 168 |
| БИБЛИОГРАФИЯ                                                                                                       |     |
| "Пути Христовы" архим. А. Семенов Тянь-Шанский — Прот. А.<br>Шмеман . . . . .                                      | 169 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EDITORIAL . . . . .                                                                             | 1   |
| LES DESTINEES DE LA RUSSIE                                                                      |     |
| METANOIA - N. N. . . . .                                                                        | 4   |
| Le dédoublement dans la conscience des intellectuels et<br>pseudo-culture — O. Altaev . . . . . | 8   |
| Le messianisme russe et la nouvelle conscience nationale —<br>V. Gorski . . . . .               | 33  |
| Que faire? — M. Tchelnov . . . . .                                                              | 69  |
| Du miracle — A. Oustinov (fin) . . . . .                                                        | 81  |
| In memoriam : François Mauriac — N. Struve . . . . .                                            | 97  |
| Interview de François Mauriac . . . . .                                                         | 100 |
| LITTERATURE ET VIE                                                                              |     |
| Inédits et textes peu connus de O. Mandelstam :                                                 |     |
| Vingt deux poésies inédites . . . . .                                                           | 107 |
| Lettres inédites . . . . .                                                                      | 118 |
| Articles critiques . . . . .                                                                    | 120 |
| Extraits des « Souvenirs » de O. Mandelstam . . . . .                                           | 125 |
| Anna Akhmatova : Poésie dédiée à Ossip Mandelstam . . . . .                                     | 136 |
| La destinée du poète — E. Iourski . . . . .                                                     | 137 |
| Addenda et corrections aux œuvres de Mandelstam . . . . .                                       | 140 |
| Pour le 50 <sup>e</sup> anniversaire de la mort du prince E. Troubetzkoï :                      |     |
| In memoriam du prince E. Troubetzkoï — P. S. Boulgakov . . . . .                                | 145 |
| Lettre inédite du prince E. Troubetzkoï . . . . .                                               | 148 |
| Chronique de la vie en U.R.S.S. :                                                               |     |
| Lettres de A. Sakharov à propos de l'internement de J. Med-<br>vedev . . . . .                  | 150 |
| Chronique de la vie de l'Eglise :                                                               |     |
| Canonisation de saint Germain d'Alaska — P. A. Schmemmann . . . . .                             | 152 |
| De quoi est coupable le P. Paul Adelheim? — V. Deriougine . . . . .                             | 157 |
| Lettres à la Rédaction :                                                                        |     |
| Lettre de Russie . . . . .                                                                      | 164 |
| Lettre de R. P. A. Kisselev . . . . .                                                           | 165 |
| IN MEMORIAM                                                                                     |     |
| Paul Evdokimov — P. Kovalevsky . . . . .                                                        | 168 |
| BIBLIOGRAPHIE                                                                                   |     |
| « Les voies du Christ » Archim. A. Semenov Tian-Chansky — P. A.<br>Schmemmann . . . . .         | 169 |

# LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris-5<sup>e</sup>, France

Tél. : 033-74-46 et 033-43-81

C. C. P. 13313-73 Paris

## ПОСЛЕДНИЕ ИЗДАНИЯ YMCA-PRESS

|                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом .....                                                                                                              | 42,—  |
| ” — Раковый корпус .....                                                                                                                       | 35,—  |
| ” — Сочинения т. 1: Один день Ивана Дени-<br>совича. Матренин двор.<br>Случай на станции Кре-<br>четовка и др. ....                            | 27,40 |
| ” — ” т. 5: Пьесы. Рассказы. Статьи                                                                                                            | 22,80 |
| ” — ” т. 6: Дело Солженицына ..                                                                                                                | 22,80 |
| ТРУБЕЦКОЙ кн. Е. — Умозрение в красках (Три очерка о<br>русской иконе) .....                                                                   | 15,—  |
| СЕМЕНОВ ТЯН-ШАНСКИЙ архим. — Пути Христовы .....                                                                                               | 26,—  |
| МАНДЕЛЬШТАМ О. — Собрание сочинений в 3-х томах,<br>в переплетах, каждый том .....                                                             | 48,—  |
| САХАРОВ акад. А. Д. — Меморандум: Размышление о про-<br>грессе, мирном сосуществовании<br>и интеллектуальной свободе. Текст<br>и отклики ..... | 10,—  |
| НА ПЕРЕЛОМЕ. Три поколения одной Московской семьи<br>(Хроника семьи Зерновых). Стр. 480 ..                                                     | 25,00 |
| EVDOKIMOV P.                                                                                                                                   |       |
| — Les âges de la vie spirituelle (Des pères du<br>désert à nos jours) .....                                                                    | 13,60 |
| — L'art de l'icône, illustré .....                                                                                                             | 59,—  |
| — La connaissance de Dieu selon la tradition<br>orientale .....                                                                                | 12,50 |
| — Le Christ dans la pensée russe .....                                                                                                         | 24,—  |
| — L'Esprit Saint dans la tradition orthodoxe.                                                                                                  | 12,50 |
| — L'orthodoxie .....                                                                                                                           | 23,10 |
| — La prière de l'Eglise d'Orient .....                                                                                                         | 15,—  |
| — Le sacrement de l'amour .....                                                                                                                | 16,—  |

Каталог 1970 г. высылается бесплатно

# ВЕСТНИК

Русского Студенческого Христианского Движения

XXXIV-й год издания

## ПРЕДСТАВИТЕЛИ “ВЕСТНИКА”

- Во Франции:** Подписную плату просим вносить либо на почтовый счет А.С.Е.Р. Paris. С.С.Р. 2441-04; либо банковским чеком на имя А.С.Е.Р.  
Подписная плата на 1970 год: 30 фр., с целью поддержки — 50 фр.
- В Америке:** Mrs Ludmila Toman, 85, Tobey Road, Belmont, Mass. 02178, U.S.A.  
San Francisco: Mrs Olga Raevsky-Hughes, 1418, 24th Ave. San Francisco, Calif., 94122, U.S.A.  
В Америке подписная плата на 1970 год: 6 долларов, с целью поддержки — 10 долларов.
- В Англии:** Подписная плата на 1970 год: 2,5 англ. фунта.
- В Бельгии:** Подписная плата на 1970 год: 300 бельг. фр., с целью поддержки — 500 бельг. фр.  
Просим подписчиков вносить плату прямо на почтовый счет А.С.Е.Р. Paris С.С.Р. 2441-04, либо банковским чеком на имя А.С.Е.Р.
- В Германии:** Frau Valentine von Gerlée 2101 Sottorf über/Hamburg. Harburg. W. Deutschland.  
Подписная плата на 1970 г.: 23 герм. м., с целью поддержки — 30 герм. м.
- В Канаде:** Miss E. Troubetzkoy, 4500 de Maisonneuve Blvd. Apt. 23, Montreal 6 P. Que. Canada.  
Подписная плата на 1970 год: 6 долл., с целью поддержки — 10 долларов.
- В Швеции:** Prost S. Timtchenko. — Box. 19027, Stockholm, 19, Suède.  
Подписная плата на 1970 год: 30 швед. крон, с целью поддержки — 50 швед. крон.

Tous droits de traduction réservés.

## ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «ВЕСТНИКА»

---

В отделе Богословия: **Понятие спасения в Ветхом Завете** о. Алексея Князева, **Угли пустынные** архиеп. Иоанна Шаховского, **Брак и Евхаристия** о. Иоанна Мейендорфа, **статьи** о. Георгия Флоровского, о. Александра Шмемана, о. Александра Семенова Тянь-Шанского, К. А. Андроникова, Н. А. Куломзина.

В отделе Литературы: неизданные произведения Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Алексея Ремизова, Вячеслава Иванова, Льва Халифа, Даниила Андреева.

В отделе Материалы по истории русской культуры: письма П. Б. Струве, неизданные произведения П. А. Флоренского, Л. П. Карсавина, С. Булгакова.

В отделе Западная мысль: переводы из произведений Ж. Бернаноса, Леона Блуа, Ф. Мориака, Ф. Мертонa, архиеп. Рамзе, Романо Гуардини, Луи Буйе, Ж. Даниэлу и других.

В отделе Материалы по истории русской церкви: **Собор 1961 года** А. Краснова, **послания** митр. Кирилла Казанского.

Ряд **неизданных воспоминаний** о русском возрождении, о преследованиях Церкви, о Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, П. Флоренском...

Готовятся в 1971 г. номера посвященные целиком или частично: Ф. Достоевскому (к 150-летию со дня рождения) и о. Сергию Булгакову (к 100-летию со дня рождения).

И в каждом номере большой раздел о **Судьбах России.**

---

**Подписывайтесь на «Вестник»! Подписывайте Ваших друзей!**

---